ПАВЛА ТЕТЮКОВА

# ФАРАНДОЛА

*« Не кажется ли Вам, друг мой, что жизнь это смерчь, или французская фарандола? ...Фарандола мчится в своем беге неистовом, захватывая по пути все новых и новых вольных и невольных участников.*

*...Да не подумает каждый из нас, что он не захвачен фарандолой, что он избежал чьей-то крепкой руки. Ты, я, мы, вы, — мы все участники фарандолы не замечаем только, что несемся мы не по своей воле, а диктует нам Фарандола »...*

*(« Фарандола »)*

ИЗДАНИЕ АВТОРА

Брюссель 1960 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

# ПОД ШЕЛЕСТ ЛИСТЬЕВ

## Повесть

Георгий Павлович ехал счастливый и довольный. Все складывалось, как он хотел, мечтал, — нет, мечтать он не умел, — он хотел. И вот он мчится экспрессом, сидит в вагон-ресторане, посасывает сигару и временами возвращается к только что записанному опусу. „ Аддажио " не удается. Капризничает и ускользает... Порою он бездумно смотрит на мелькающую зеленую гущу, домики, станции, маленькие селения... И вот он у цели, — уже издали он увидел блестевшую на солнце коляску, кучера в бархатной безрукавке, белые рукава рубахи и шляпу с павлиньими перьями.

Вот он, мой русопет, Ростислав. Помещичья косточка, — улыбнулся Георгий Павлович. — А где же он сам? — На платформе не было видно никого, кроме красного околыша Начальника станции и сторожа, стоящего у звонка.

Неужто не приехал встретить? Обида шевельнулась в душе. — А как звал, уговаривал...

Он легко выскочил на платформу. Пахнуло волной жасмина из станционного садика. Подошел Начальник станции.

— Вы, вероятно, господин Суровцев?, — он оглянул станцию, больше пассажиров не вышло.

— Да.

Людмила Петровна прислала лошадей. Пожалуйте, — здесь поближе, — и он провел через махровый цветущий садик к коляске, стоящей в тени.

— Здорово, Степан!

Кучер, улыбаясь во весь рот, ответил на приветствие. Сторож положил два желтых чемодана в коляску и Георгий Павлович с огромным удовольствием устроился на мягких подушках.

Коляска уютно катила среди высоких мачтовых сосен. Солнце почти не было видно из за макушек. Воздух пьянил. Полусонный, Георгий Павлович подъехал к крыльцу. Вышла дородная няня в кике, завязанной по смоленски, — спереди и в сарафане с позументами.

Где же Ростислав?, недовольно подумал Георгий Павлович. Няня отвела его в комнаты и сказала, —

— Барышня Людмила Петровна будет ждать их к завтраку пол первого.

Стол был накрыт на веранде и тут впервые он увидел Людмилу Петровну. Худенькое, бледное до прозрачности,

лицо. Огромные темно-серые глаза и темные брови, делали ее похожей на схимницу-затворницу, всю жизнь прожившую без солнца.

И это тут, среди ликующей природы! Наверное туберкулез, подумал он с жалостью, смотря на тонкую фигурку. Глаза ее, почти полузакрыты, когда открывала, напоминали глаза сибирского изюбра-серны, такими темными бархатными ресницами были они опушены. Какая стильная фигура, подумал Георгий Павлович, заглядевшись. Хотя легкое светлое платье, простое, домашнее, туфли без каблуков и никак не причесанные волнистые волосы, схваченные широкой лентой, — совсем не выражали претензию на стиль.

— Я много слышала о вас от Ростислава. Вы хороший музыкант и художник. Чудное соединение, одно пополняет другое. Брат был вызван к Губернатору по делам и поручил вас мне. Мамушка, выкормившая брата, у нас за полную хозяйку, до сих пор еще не может забыть свою почтенную миссию и одевается, как кормилица. Хозяйка она чудная, кормить нас будет хорошо, а что касается развлечений, ищите их сами, я человек простой и развлекать вас не съумею по столичному.

Не особенно любезно, — подумал Георгий Павлович. Не означает ли это, в вежливой форме, — „но пожалуйста не навязывай мне свое общество ”, но встретив на мгновение серые спокойные глаза, оттолкнул эту мысль. Она просто не знает меня и нет ничего общего о чем нам интересно было бы разговаривать.

Людмила Петровна вышла в сад и исчезла в кустах. Вернулась она к завтраку с огромным букетом цветов, хотя сад говорил, что садовник у них чудесный и непонятно почему ей нужно было ходить в поле собирать цветы...

А ведь действительно полевые цветы идут к ней лучше, подумал Георгий Повлович.

Заехал к обеду отставной полковник, здорово хромавший на левую ногу. — Неудачные скачки, пояснил он, поглаживая хромую ногу. — Не расчитал барьера.

За обедом было весело. Людмила Петровна хохотала до упада, разливаясь таким валдайским колокольчиком, что собеседники превзошли самих себя, расказывая забавные истории, случившиеся с ними, так подбодрял их этот заливчатый смех. Полковник остался ночевать и после ухода Людмилы Петровны, Георгий Павлович и полковник долго играли на биллиарде...

Шли дни. Приезжали к ним гости почти каждый день, а Ростислава все не было. Присылались ежедневно письменно разные извинения и объяснения. Людмила Петров-

на привыкла к Георгию Павловичу и видя, что с ним разговаривать совсем не трудно, очень редко оставляла его одного. Перебрасываясь словами, — он у рояля, она на кушетке с каким нибудь вязаньем, — он бродил по клавишам чудесного „ Стейнвай ". Аддажио не давалось и весь опус, намеченный им, не был закончен, как предполагал Георгий Павлович, — быстро закончить в деревенской тиши... И он искал, искал. Если не было гостей, Людмила Петровна и Георгий Павлович страстно спорили о музыке.

Однажды, когда Георгий Павлович был совершенно удручен неудачей, она сказала, присев к роялю.

— Может быть подойдет вот это? и заиграла.

Георгий Павлович был поражен, ошеломлен, — тонкая, как змейка мелодия вилась среди хаоса камней, разверзшихся пропастей, пропадала в гремучем водопаде и опять возрождалась блестящая, скользящая, чарующая, заставляя замолчать крушение мироздания и торжествующая разрешалась примиряющим аккордом...

Георгий Павлович ошалел. Он сидел, одурманенный, изумленный. Он, известный пианист и помыслить не мог ни о чем подобном, так смело, оригинально было это.

— Люда, — воскликнул он, не помня себя от восторга, и, схватив ее за плечи, сжал, приподнял и крепко поцеловал в губы. — Люда, моя родная, милая...

Она посмотрела недоуменно, но не обиделась.

— Почему вы никогда не сказали, что так хорошо знаете музыку ?

— Видите ли, Ростислав всегда считался великим музыкантом, а я была в тени. Еще студентом он играл на всех вечерах очень серьезные вещи, а я никогда не выступала. Только мама, — она умерла рано, — говорила, что я буду хорошо играть. Брат в нашей семье был божок, мы все его обожали и... обожаем, — улыбнулась она.

Он смотрел на нее, словно в первый раз увидел и действительно, не барышня крестьянка, а крупная музыкальная величина выросла в его глазах. Величина равная ему, а кто знает, может быть, глубже и серьезнее...

И с тех пор они очень редко расставались. Когда играла она, он слушал, закрыв глаза и уносился в мир звуков. Играла она задушевно. Это не была музыка профессионала, это пела ее душа.

Георгий Павлович понимал, что она музыкальнее его и много выше Ростислава, но не завидовал. О, если бы так играл мужчина, профессионал, конкурент за мировую известность, какую бурю вызвало бы это в нем. Какое соревнование, желание победить. А этой девушке почему то он не завидует, а радуется каждому пассажу с лег-

костью исполненному ею, пассажу, над которым он сам, известность, работал бы не мало пока не добился бы такой хрустальной чистоты...

Играли по очереди, играли в четыре руки. Бродили по аллеям, смотрели без слов на тихую заводь. Чешуей покрытую реку, от глядящейся в нее луны...

Георгий Павлович стал мечтать. Мечты были неуклюжи, непривычны, упирались в какой то тупик, где мало было одной его воли, еще была чья то чужая, — вот как преодолеть этот трудный пассаж? Пожалуй труднее музыкального. И вот однажды вечером, не уходя от дома вдаль, как они делали это обычно, — он решил, — я болен. Как мальчишка врезался в эту схимницу. Может быть в недалеком будущем игуменью глухого монастыря, непомышляющую ни о каком замужестве.

Обуреваемый всякими противоречиями, он поставил себе, как всегда, вопрос, просто и ясно. Что я хочу? — Жениться. А что даст ей и мне эта женитьба? Я вырву ее из обычного круга, увезу в среду совершенно ей чуждую, поклонники, поклонницы моего таланта. Она будет глохнуть рядом, незаметная, тихая, как глохнет сейчас, пришибленная талантом Ростислава. Тут она живет счастливая, довольная в своем маленьком мирке, любимая, обласканная друзьями. А там?

Известность я! Завистливые, злобные взгляды поклонниц, презирающие ее, такую маленькую, скромную, рядом со мной. А если бы кто знал, насколько она талантливее меня. А что получу я? Укоры совести, что я ей даю так мало (это в минуты просветления, когда совесть проснется), а чаще, упоенный своею славой и блеском, я буду думать, сетовать, жаловаться, что она связала меня по рукам и ногам. И буду искать тысячи причин и предлогов, что бы обвинить ее во всем, — что я должен был отказаться от блестящего раута, от поездки на пикник, куда без нее я поехать не мог, не обидев ее. А. если бы поехал, то должен был быть кавалером хозяйки пикника.

И так тысячи мелких недоразумений и сделок с совестью...

И он долго бродил по саду, не замечая времени.

А листья тихо шелестели, вторя его невеселым думам, и под этот шелест листьев в аллее старых дубов, решал он свою судьбу. Когда он очнулся от дум, он увидел, что ночь подходит к концу и алеет в дымке тумана розовая полоска на востоке. Он прошел к себе и сел в кресло у окна.

Не спешила отойти от дома в этот вечер и Людмила Петровна, не спешила пойти на обрыв любоваться на серебристую реку, на серебристый путь, ведущий куда то далеко, к неведомому.

В этот вечер неведомое ей стало страшно. У нее точно открылись глаза. И это было в первый раз, она поняла, что Георгий Павлович ей не чужой...

В этот же вечер пришла телеграмма от Ростислава. „Пришлите на станцию коляску и подводу для вещей". Оба они очень обрадовались приезду Ростислава, как будто бы им пришлось в силу необходимости оторваться от размышлений и заняться другими делами.

Георгий Павлович так и не спал. Ткнул окурок папиросы в пепельницу и лишь сейчас заметил, что он выкурил неимоверное количество папирос за это утро, — признак волнения и недовольства собою, — подумал он.

Приехали соседи и, узнав о прибытии Ростислава, остались ночевать.

Уже с утра белое платье, усыпанное голубыми незабудками и голубая лента в косе Людмилы Петровны мелькали всюду. На огороде срезали спаржу, цветную капусту, собирали душистую клубнику. В людской, на конюшне было также много хлопот, долгое совещание с кормилицей — все это готовилось к приезду Ростислава.

Георгий Павлович сидел на веранде и следил за передвижением рогатой кики и голубой ленты.

Телеграмма Ростислава была загадочна „Пришлите на станцию коляску и подводу для вещей. Буду утренним.

— Неужели купил новую мебель, догадывалась кормилица и недовольно качала рогатой кикой. Итак сараи полны добром, чего зря деньги бросает... Только пусти одного, — ворчала она, все еще думая о Ростиславе, как о ребенке в коротеньких штанишках, которого она награждала за шалости увесистыми шлепками.

Людмиле Петровне тоже не спалось. Она укоряла себя, что за все это время она так мало думала о Ростиславе. Как он провел эти недели ? С кем ? Не хворал ли ? Не было ли чего неприятного. Ах, Боже мой, — думала она, что же это случилось со мной ? Ведь всегда мои мысли были около него, а сейчас ? Сейчас я с трудом урвала минутку подумать о брате, всегда о себе, да о себе... О себе ли ? И она покраснела до корней волос. Словно обожгло... О Георгие Павловиче думала я... Что же это со мной ? Какое несчастье ! Неужели полюбила ? и зажав в ладони лицо, она сидела не шевелясь у темного окна, глядя в сад, — темный и суровый.

Мелькает огонек папиросы, высокая тень остановилась и подняв голову смотрит на окна ее комнаты... Сердце всполохнулось... Неужели ?!..

Утро проснулось под торжествующее ку-ка-ре-ку петухов, ясное, свежее. От ветерка трепетали листочки еще покрытые ночной влагой. Душа говорила с Богом

в такое утро, так близка и величественна была к человеку десница Творца...

В 9 часов утра подкатила коляска, а за нею подвода, полная чемоданов, баулов, картонок. Из коляски первым выпрыгнул Ростислав, ликующий, счастливый. Он принял на руки какое то коротенькое существо, разряженное, бледно-палевое, состоящее из лент и гипюра и огромной шляпы.

Существо, поставленное на ноги, оказалось чернявенькой, худенькой девушкой. Это был „ последний крик моды ", как говорят провинциальные портнихи. Золотой лорнет на длинной цепочке так не шел к ней... Ростислав подал руку и выгрузил толстую коротенькую женщину, с такими же черными, маслянистыми, выпуклыми глазами, как и у дочери. Обе дамы на высочайших каблуках с трудом двигались по грунту аллеи к веранде.

Мамушка сурово без улыбки оглядела разряженных дам и вдруг круто повернувшись, скрылась в доме. Людмила Петровна изумленно, но ласково приняла гостей, — как же это, — волновалась она, — Ростислав не предупредил ?

— Вот принесла нелегкая, подумал Георгий Павлович. Итак голова трещит от противоречий, а тут еще две обезьяны.

Так с разными чувствами все разошлись готовиться к завтраку. Утренний завтрак приезжие получили в их апартаменты. Один Ростислав носился без устали по хозяйству и ввалившись домой прямо попал к столу, где уже все были в сборе. Наряды дам к завтраку были еще причудливее и Людмила Петровна выглядела совсем плохо, казанской сиротой, в своем платье с незабудками. Даже ленту сняла.

Георгию Павловичу стало за нее обидно. Зачем уже так ! сердито подумал он и одернул себя. Видишь, был прав, вот также было бы и в нашем браке !

Жужу, — произвольное от Евгении, — была очаровательна. О Петербург ! О Острова ! Каменноостровский ! Закат, восход, Опера, Кавецкая, Потоцкая, Вернисcажи. Песня индийского гостя. Юдин, Собинов, Смирнов, Камионский, — „ Демон " — сравнения, восторги. Георгий Павлович плавал как рыба в этом винегрете восторгов и воспоминаний.

Прошли три недели, как Георгий Павлович покинул Петербург и теперь он с удовольствием вспоминал милые мелочи тамошнего жития-бытия. Петербург был колыбель его детства, юности, все такое знакомое и он, не замечая втягивался в этот винегрет болтовни... Трио приехавших

казалось спелось идеально, ни одной фальшивой ноты. Ростислав приуныл.

Дурак я, просидел здесь, в глуши. Сейчас сижу разинув рот, а приятель невесту то мою с руками вырывает. Ну, положим, я красивее его, моложе, пожалуй и богаче... и Ростислав успокоился.

Рогатая кика Мамушки слушала гневно, как ея питомцы и слова вымолвить не могут, а эти-понаехали на чужие хлеба, да вон как разговаривают, будто моих то и вовсе нет. — Много было чего заготовлено на завтрак, но рогатая кика наполовину убавила блюд и только кончили пломбир, попросила гостей дорогих на веранду, либо в сад, прогуляться. Изумленный Ростислав не узнал своей доброй мамушки, когда она, дав ему изрядного пинка в бок, сердито шепнула, — ты это чего же, голубь мой, в молчанки играешь ? С чего допрежь себя гостя пускаешь. Привез невесту так и хорони ее про себя. Погляжу я, вертихвостка она. Иди, не пускай с ним в сад...

Ростислав послушно пошел. „ В молчанку играешь ”, а как говорить, когда слова вставить не дали...

А дни текли. Людмила Петрова все отметила и все решила, если и были раньше какие либо сомнения. И вот пошла странная жизнь. Все стало на места. Жужу и Георгий Павлович были неразлучны, т.е. точнее, где был Георгий Павлович, туда же подплывала мамаша или Жужу.

Ростислав, закусив губу, старался отбивать хоть минуты для себя, поцеловать ручку сказать два три слова. Жужу как будто и не избегала, — но минуты эти были редки. Людмила примирилась, задушила мечты и была обычной Людмилой Петровной...

— Жужу, милая, можно объявить день нашей свадьбы ?

— Мама просит обождать.

— Чего, чего ждать, ведь за этим приехали.

Она ластясь кошечкой, улыбаясь бросала, —

— обождем, разве вам недовольно видеть меня в вашем доме?

И он грустно умолкал. Похудел, побледнел, растерянный ходил он.

Мама упорно каждый вечер твердила, назидая Жужу.

— Что ты делаешь? На что тебе этот деревенский увалень, ты прокиснешь в деревне. Твоя партия, — это Георгий Павлович. Столица ! Заграница ! Блеск. Концерты, — твое общество...

Жужу слушала растерянно. — Мама права, с ним так легко, а с Ростиславом говорить не о чем. Одни поцелуи и томное держание рук, пожатие, взгляды. И она вечером сказала Ростиславу, —

— Я должна сказать вам откровенно, не сердитесь, я полюбила Георгия Павловича. Он человек моего общества, ближе, понятнее вас и, если я выйду за него, я буду счастливее... А с вами так мало общего и я боюсь связать мою жизнь с вашей.

Темные силы бушевали, мутя мозг, — тысячи мыслей, слов, кипели, просясь наружу, — но он был джентельмен и, стиснув зубы, он молча поклонился и ушел. Заперся в кабинете. Но от мамушки не запрешься, — пришла и открыл, знал, не уйдет, пока не добьется своего, и вот, прижав голову своего питомца, мамушка говорила таким понятным Ростиславу, с детства, языком.

— Тебе ли родимый сокрушаться. Молись Богу, что не тебе, а гостью несчастье это досталось. Ну, куда она тебе в здешний рай? Тишина, благодать, разве оне это поймут, — и гнездо разорят и тебя и сестру по миру пустят, и сами радости не найдут. —

Ростислав слушал и мысли, — вызвать на дуэль Георгия, выгнать вон обеих дам, застрелиться от стыда, — привез невесту, в городе все знают, насмешек не оберешся от друзей, положение дурацкое,... затихали, уходили в даль.

— Поезжай, сынок, проветриться. Езжай в „Погожее” к доктору. Оба посмеетесь, поверь мне, старухе, все и утрясется.

Уехал — куда, никто не знал, кроме мамушки. А она молчала...

Утром по росистой траве все мчались к полосатым холщевым купальням. Женская прямо по аллее от дома близехонько.

Река Молога тихо плескалась о деревянный ящик купальни.

Задевая ветки, что бы осыпало мелкими брызгами росы, бежали барышни с горничной в купальню, переплывали реку на перегонки, отдыхали на том берегу. Из купальни от сладкой нежной воды разрумяненные, разнеженные, мирно шли домой.

Пока Жужу зашнуровывала свои корсеты, пояса и прочие атрибуты, — Людмила Петровна, накинув легкий капотик, распустив волосы по пути, чтобы просушить, спешила домой, а там дела выше головы. Гости каждый день, и больше всех зачастил хромой полковник, пользуясь каждым предлогом. Он оказался чудесным партнером в винт, на рояле с великолепным брио играл собачий вальс, разсказывал анекдоты из военной жизни и как то незаметно стал тем, что называется „ душа общества ” т. е. когда пролетал тихий ангел, разговор

изсякал, полковник внезапно оживлял общество шуткой-прибауткой, или затягивал „ как у нас во городе, да во Казани ”, так жалостно, что всем становилось весело.

— Между прочим, в Казани я никогда не был, — заявлял он.

— И откуда у него что берется, — неодобрительно и изумленно качала головой мамушка. Семь лет ездит к нам, воды не замутил, а сейчас прямо петушком, петушком. Это все из за Жужу, ей понравиться хочет.

Выбежав быстро из купальни неслась домой Людмила Петровна. Предстоял тяжкий день, — народу понаехало тьма, — Людмила Петровна неслась обычной короткой тропинкой и вдруг, — стоп! Вдали показался полковник. Идет к купальне, должно быть встретить Жужу, — подумала она и юркнула в кусты.

— Уф, спаслась. Растрепанная, в капоте, — вот стыд!

Осмотрелась, куда деваться лучше и уткнулась глазами в Георгия Павловича. Он сидел на качающемся, как гамак, диване, привязанном к двум здоровенным веткам дубов. Ветви качались и обвевали. В жару чудесно, прохладно, всегда тень. Георгий Павлович был погружен в размышления. Лоб нахмурен, красивые белые руки заломил за голову, на спинку дивана.

Людмила Петровна замерла, любуясь им и не шевелилась.

К качалке подкралась тихо Жужу и наклонясь над Георгием Павловичем, закрыла ему глаза ладонями. — Угадайте! Выходило так, что грудью она прижалась к нему, а наклоненная головка пришлась к лицу.

Эх, что бы стоило бродящему полковнику раньше их наткнуться на Жужу или Георгия Павловича. Но судьба бывает жестока в своих шутках и комбинациях.

Если бы мамушка и Люда подслушали разговор „ преступников ”, как теперь считали они Жужу и Георгия Павловича, мысли их были бы иными.

Георгий Павлович взял ручки Жужу, поцеловал и Жужу опустилась рядом с ним на качели.

— Мне многое нужно сказать Вам, — и Жужу изложила ему весь разговор с Ростиславом. — Мне кажется, что самое лучшее воспользоваться отсутствием Ростислава и уехать, что бы не причинить ему лишней боли. И он примирится и забудет. Полюбит какую нибудь провинциалку вроде Людмилы и будет счастлив, а она, Жужу, предназначена для иных сфер...

Георгий Павлович выслушал ее весьма благоразумную тираду и с грустным видом объявил, что он властитель толпы, но и раб толпы, и он, увы, не может принадлежать себе. Сейчас он отдыхает в деревне у друга, а отсю-

да, едет в Вену, где объявлены его гастроли и оттуда в Париж. Все размерено по минутам, часам.

Личико Жужу темнело, глаза стали злыми.

— Но неужто не хватило бы времени нам уехать, что бы не раздражать хозяев и обвенчаться?

— К сожалению я уже обручен...

Георгию Павловичу казалось, что он увяз в непроходимую тину, из которой так трудно вытащить ноги и вот погибнет в этом болоте. Стало нестерпимо тяжело. Он предатель, залез в гостеприимную семью, к другу, отбил невесту друга, с которым вместе учились, поверяли все заветные мысли, планы. М. б. увлек даже Людмилу Петровну. Все они молча стушевались, отошли, вероятно с чувством отвращения к нему. Жгучий стыд от сердца подступил к лицу... Он долго мотался по саду. Подошел к купальне, вымылся холодной водой, смочил голову...

У доктора были гости и поговорить по душам, как хотелось Ростиславу, не удалось. Но за то гнев исчез. Было изрядно выпито, Ростислава упросили играть на рояле, пели хором и домой вернулся он, когда все сидели уже за обедом...

Жужу восторженно встретила его.

— Ростислав, садитесь, сюда ко мне, — умышленно или нечаянно место около нея было свободно.

Жужу и Георгий Павлович держались далеко против обыкновенного и приехавший Ростислав, видя их сидящими отдельно, расцвел и сиял, но мамушка и Люда приняли это по своему.

— Сговорились, притворяются. Может быть так и лучше.

Мрачность одних и радость других, разсиропливал ничего не подозревавший полковник. Он был в ударе и подбирая по слуху на рояле, напевал : „ Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты ". Маман ела, как всегда, за троих, лорнируя каждый кусок.

Людмиле Петровне хотелось плакать от лжи, царящей за столом и в первый раз она оценила самоотверженность полковника, взявшего на себя тяжесть этого вечера „ настроений ".

Жужу и Ростислав теперь неразлучны. Георгий Павлович потерял себя, словно знакомая, привычная, спокойная дорога стала в рытвинах и ухабах.

Однажды после обеда пропали мамушка и Людмила Петровна. Старая Пахомовна из „ девичьей " служила господам за столом. Георгий Павлович ощутил отвратительное чувство. Он что то искал по всем закаулкам и не находя решил уехать. — Так будет спокойнее. Приду в себя. Пойму в чем дело.

На другой день к вечеру, к обеду, часов в шесть, в комнате Людмилы Петровны зашевелилась занавеска и показалось милое бледное лицо девушки.

— Болван, обругал себя Георгий Павлович. — Это значит, я, как влюбленный гимназист, торчу в кустах под окном.

За обедом все выяснилось. Мамушка и Людмила Петровна ездили в Тихвинский женский монастырь. У Люды там была приятельница Маня Ларисова.

Девочка эта потеряла рано отца и мать, любившая до самозабвения мужа и дочь, как честно и крепко умели любить русские женщины. Мать не могла забыть той тихой радостной жизни, ни найти ниточки, за которую могла бы удержаться и не упасть. Сначала с приятельницей пили по рюмочке вишневую киевскую наливку, малороссийскую запеканку. Потом покрепче — Шустовскую. рябиновку и коньяк. И когда Мане минуло 18 лет, ее мама, нежная, ласковая мама, уже превратилась в горькую безпробудную пьяницу. Это убило бедную девушку. Неустанная мысль, а если при жизненных неудачах, я унаследую слабость матери и внесу в семью этот порок? У мамы изъян воли, м. б. и у меня наследие? Нет... Красивая, синеглазая, стройная, много женихов было у нее, — не посмела, не пошла... И ушла в монастырь...

Вот повидать ее и поехали мамушка и Людмила Петровна. Мамушка, обуреваемая тяжелыми мыслями, решила поехать в монастырь, что бы посоветоваться о смущающих ее событиях, — сказать ли Ростиславу или скрыть, — и свезти гостинцы матери Игуменье. Не подобало бы особу удалившуюся от дел житейских в тихую обитель, безпокоить светскими делами. Но Мать-Игуменья слыла умницей, без предразсудков, да и кому другому можно поверить тайну?

Обрадовалась и Людмила Петровна уйти от терзавших ее вопросов, сменить обстановку и повидать подругу. После обеда, подвязавшись платочками, захватив дары, сели они в бричку. Правила мамушка, а Людмила Петровна смотрела бездумно, словно выпустошенная, на огромный диск солнца, уходящего, будто купаясь, в реку. На пароме полном крестьян с телегами и пеших, переехали они реку и совсем затемно позвонили у монастырских ворот.

Всю ночь проговорили подруги. Зазвонили к утрени и пошли оне на клирос петь. Так тихо, так ясно стало на душе у Людмилы Петровны, точно вымело мусор из сердца.

— А не пойти ли и мне сюда, в эту целительную тишину, и молилась она пламенно, благодаря Господа за

мир подаренный ей и чистоту и ясность мыслей. Тишина. Могилки успокоившихся от тревог житейских, нашедших здесь приют, были засеяны цветами, как цветущие холмики.

Мамушка ходила счастливая, разнеженная. Подарки понравились. Совет получила — Не тревожь и не вступай. Все Господь Сам разберет и устроит.

С тем и поехали домой. Вошли в дом и спустились к обеду совсем новыми, просветленными, спокойными... Успокоился и Георгий Павлович, обругав себя еще раз дураком и гимназистом. — Надо уезжать, хорошо еще, что счастливо выкарабкался из этой истории. Стыдно смотреть в глаза Ростиславу.

Теперь Жужу сама заговорила о свадьбе... Два оркестра музыки. Полковой и городской. Банты, ленты. Шафера. Подвенечное платье... И вот она жена и хозяйка в доме. Как то взяв ключи от мамушки, Аделаида Семеновна, ничего не говоря дочери, мамушке их не вернула. Появилась камеристка Лиза, умеющая делать прическу фру-фру и галстучки из валансьен и стирать шелковые блузки. Ростислава наряжали в парижские пиджамы и сами ходили в них чуть ли не весь день.

— Жарко, поясняли они.

Жить стало трудно. И Людмила Петровна и мамушка оказались приживалками. Прощай росистое утро, когда обе оне были нужны всему дому, и двору, и службам.

Одним утром, Людмила Петровна по привычке, набрав горстью куски сахара, чтобы снести на конюшню и ребятишкам, была остановлена Аделаидой Семеновной.

— Что это несете вы ? — спросила она, указывая на оттопыревшиеся карманы передника.

— Сахар...

— Лошадей кормят сеном и овсом, — безапеляционно буркнула она. — А у ребятишек есть родители. Они знают чем кормить детей.

У Людмилы Петровны брызнули слезы, — в первый раз в жизни она услышала окрик. Сказала мамушке.

— Уйдем обе в монастырь, — решила та. — Какая тишина. Покой, доброта. А сады какие. Дух какой по весне от вишенья, да яблонь. Никто не упрекнет за доброе. А здесь завелось змеиное гнездо. Пойдем, голубонька. Вот на Покрова и уедем...

Заносчивая чванливая Аделаида Семеновна разогнала почти всех друзей и лишь один полковник, словно ничего не замечавший, наносил визиты ежедневно, просиживая по долгу. И лишь с ним отдыхали мамушка и Люда. Ростислав, поглощенный огромным хозяйством и

женой, попрежнему любовно и радостно встречал полковника.

Люда додумывала тяжкую думу, не делясь до конца даже с мамушкой. Привыкшая к работе, занятая с утра до ночи, и оставшись теперь не у дел, она не знала куда приложить себя. Как только она выходила из комнаты немедленно попадала под наблюдение Аделаиды Семеновны.

— Что же так толкаетесь, — поиграли бы на рояле... Что ж бродите, как сонная муха, съездили бы к соседям. Только не берите Рыжего или Тулумбаса, я за грибами еду ".

От таких советов и разрешений Люда опять бежала в свою комнату, к мамушке, или в сад, все — с той же недодуманной думой...

В монастырь. Постричься. Страшно. Она вспомнила, как с матерью была на пострижении жены банкира. Еще не старая женщина. Все ее капризы, желания исполнялись, но муж не любил ее. Подвернулась ему шалая пустенькая бабенка, жена старого профессора, творившая свою волю, оригинальничающая всем на удивление и осуждение. Ездила она верхом по мужски, в галифе, или рейтузах, вечно с хлыстом в руках, пощелкивающая хлыстом крапиву, растущую в канавках городка. Вот она и пленила банкира „ новизной " и оригинальностью. У жены банкира характер был тяжелый. Бродя по одинадцати комнатам роскошного особняка, возненавидя всех, злилась, и решила, — на зло ему постригусь. Ушла в монастырь. Муж не вернулся. И день пострижения наступил. В тот момент, когда Люда увидела сверкнувшие над головой ножницы, волосы, приподнятые тяжелой черной волной, жену банкира грохнувшуюся без сознания на пол, Люда поняла, что делать это не так уж просто.

И Люда додумывала...

Тусклое прохладное осеннее утро, отсыревшие листья с тихим шелестом отпадали, расставаясь с родными ветками. Наемная бричка вкатила в боковые воротички и подергивая плечами от сырости, в великолепном дорожном костюме, въехал Георгий Павлович. Со скотного двора на тихое позвякивание бубенчиков вышел Ростислав и, как будто даже не удивившись, — почему же не телеграфировал, я бы выслал лошадей, — нежно обнял друга, помогал вылезать из брички.

— Ну пойдем, пойдем, вот обрадуется Люда и мамушка...

— А я за Людой, — просто сказал Георгий Павло-

вич, прямо из Вены, насилу закончил гастроли, так рвался сюда.

Они вошли никем незамеченные, кроме прислуги. Георгий Павлович задержался у дверей мамушки. Постучал, открыла дверь мамушка, да так и упала на грудь Георгия Павловича.

— Родимый ты мой, сокол ясный, каждый день тебя ждала, знала, что приедешь.

— Сам рвался, но приехал только к концерту, минуты не было. И как окончил гастроли в тот же час на поезд и сюда. Вот освободился и приехал.

Мамушка стала разсказывать, как они жили были, сколько мучений приняли от новых хозяев, как закрутили голову Ростиславу.

— Все знаю, все, полковник каждый день писал мне о вашей жизни. Ну, а теперь собирайтесь в путь, хоть сегодня уедем, ничего не берите, все есть и все будет.

— Да она может за тебя и не пойдет, сокол ясный? — лукаво улыбнулась старуха.

— Пойдет, мамушка, пойдет, уговорю, выпрошу прощение.

— А может и не уговоришь?

— С вашей помощью, да мы горы сдвинем, — счастливо смеялся Георгий Павлович, увидев в лице старухи верного друга. Ее он побаивался больше всех.

Долго совещались они и только перед завтраком вышли из комнаты мамушки оба счастливые. Георгий Павлович пошел в охотничью комнату к Ростиславу, а мамушка, поправив горделиво кику, отправилась на кухню. Людмила видела в окно, как по двору прошел брат с Георгием Павловичем и замерла в углу дивана.

Увидев на кухне Аделаиду Семеновну, мамушка деловито, сухо сказала.

— Пожалуйте сударыня к гостям. А я уж здесь справлюсь.

Аделаида Семеновна хотела что то сказать, но выражение темных глаз смотрящих на нее было так красноречиво, что она предпочла покинуть молча позицию и направилась с жалобой на старуху к Ростиславу. В папильотках, фантастическом пенюаре, разсвирепевшая, появилась она на пороге и испустив, „ Ах ”, захлопнула двери, словно увидев змею. И помчалась одеваться к завтраку.

Мамушка распорядилась на кухне приготовить завтрак, как следует, по господски, достала лучшее вино, ликеры, московские и петербургские сладости, во всех помещичьих домах, хранящиеся про всякий важный случай, в кладовых. Отправилась на конюховскую, отрядила

Терентия взять Куртыша, самую скорую лошадь и верхом скакать к соседям и звать в гости в любой час, **сегодня** безпременно.

— Сегодня,, — подтвердила она, — а писать приглашение некогда. Гости приехали нежданные. Да скажи, что Степанида Тихоновна и бырышня Людмила Петровна зовут, а не вертихвостка.

Терентий не заставил долго ждать, подтянул штаны и босиком вскочил на коня и почтовая „ штафета ” помчалась.

А мамушка пошла к Люде. И поплакали обе от радости, что мукам и сомнениям конец.

Завтрак запоздал. Напрасно Аделаида Семеновна, разрядившись в пух и прах, звонила в сотый раз прислугу приказывая поспешить. — Слушаюсь, — говорила та покорно, но в столовую двери были закрыты, и звонка на завтрак не было слышно. К двум часам собрались ближайшие соседи, в свою очередь разославшие приглашение мамушки своим соседям. А в два часа Ростислав, посвященный во все, пригласил всех гостей, собравшихся в залах к столу, извиняясь за опоздание.

Не стол, а чудо из чудес предстало перед глазами вошедших. Даже подготовленный к торжеству Ростислав был поражен великолепием стола в столовой.

— Ну и мамушка. Вспомнила былые времена ! Прибыл и батюшка, отец Агафон и притч. И все как то подтянулись поняв, что готовится что то серьезное.

Жужу и Аделаида Семеновна злые и мало понимающие, что происходит, дулись.

Ростислав превозгласил тост за жениха и невесту. Все обрадовались. Мамушка и полковник сияли как медный грош. Слухом полнилось, что Люде живется плохо в семье брата и она уходит в монастырь. И вдруг такая радость. Нашлись и кольца и обручение прошло ликующе. Ликовал и полковник, сознавая себя не последней спицей в колеснице.

Георгий Павлович, видя как траурны лица Жужу и маман, уговаривал венчаться в Петербурге. На этом настаивала и Аделаида Семеновна. Для нее непереносимо было думать, что она и Жужу зиму будут сидеть в этой дыре, а Люда, эта серая деревенщина будет блистать в Петербурге, Вене, Париже. Меньше всех о блеске думала Люда. Слезы радости и благодарности Господу горели в ее серце.

Но мамушка твердо сказала.

— Барышня моя замуж пойдет в доме своем, своих родителей, а не по чужим углам. Попрошу вас все приготовить к вечеру. А после венца молодые и отбудут.

Под венцом стояла Люда, как снежинка, белая. Счастлив был и Ростислав. Многое он понял за этот день. И мамушкино житье, и Людино, и еще больше понял, увидев во время венчания две пары черных ненавидящих глаз, устремленных на Люду и Георгия Павловича.

## „ГЕЙША"

Есть жизни сложные, а есть жизнь и простых людей, что едят пряники неписанные, с мыслями простыми и чувствами не ахти какими замысловатыми. Не как там, некоторые, у кого и мысли и чувства возвышенные, красивые, так и блещут, так и зажигают, как молнией. И всем интересно прочитать или прослушать возвышенное.

Ну где же его взять, когда в ее жизни таких чувств не было. А все же жизнь и у таких людей одна, — родился, прожил, помер, — так неужто про простую жизнь и разсказать нечего ? И прослушать неинтересно ? Ну, а я, вот все же возьму и разскажу...

... Лицо у нее было одутловатое, серое, словно опухшее. И ей совсем было невыгодно показываться всюду с Маней Богдановой. Эта худенькая, веселая, белозубая девушка совершенно давила подругу. Губы у Мани Богдановой были яркие, тонкие, словно змейкой вилась улыбка. И слова были забавные, занятные, веселые, как горох сыпала. Пустяки, а весело !

Они были погодки, — вместе кончили гимназию в Новгороде, но к 26-ти годам, Маня осталась Маней Богдановой, а Маня Скворцова стала Марией Павловной, так не девически смотрело ее серое одутловатое лицо и скучные глаза...

И вдруг, о чудо ! Приехал молодой офицер навестить свою мать и обрадовать ее приятной новостью. Он был откомандирован в кипучую веселую Варшаву.

Городок, где жила Маня Богданова и Мария Павловна был небольшой, но общество веселилось, как умело. Мать Мани Скворцовой, мать Мани Богдановой и мать Анатолия Петровича были большими друзьями. Все три семейства жили очень дружно и овдовев, сошлись еще ближе. Связывал их монастырь, где они все встречались на церковных службах, а затем шли на обед по очереди к каждой. Барышни навещали Анну Николаевну, — она была слаба здоровьем и редко выходила куда нибудь, кроме церкви.

Анатолий Петрович был рад командировке, ведь в Зегрже, где стоял его полк, была скука изрядная. Поль-

ское общество с русским не сливалось. Единичные случаи дружбы, а в общем, все при встречах любезны, вежливы в пределах благовоспитанных людей. Но юношество чаще проявляло дружеские чувства, приглашало молодежь на пикники, рыбную ловлю, концерты, вечеринки, в цукерни...

Анатолий Петрович болтал по польски, считая, что простая благовоспитанность заставляет знать хоть немного польский язык, раз ты живешь среди этих людей. Да и спросив по польски в цукерне чашку кофе, шоколада, вместе с румяным пончиком получал еще при этом и приветливую улыбку, а попросишь по-русски, — получишь и пончик не такой румяный и без очаровательной улыбки. А для молодого поручика, ласковый взгляд, шаловливая улыбка молодого девичьего лица, — праздник на целый день.

Анатолий Петрович жарил на память стихи Адама Мицкевича, играл вальсы, полонезы и мазурки Шопена, пел романсы Монюшко, как заправский шляхтич и командированный в Варшаву по делам полка, он блестяще провел два-три бала, как дирижер, показавший недюжинный талант, знание польского языка, его полюбили и устроили в Варшаве надолго.

Словом Анатолий Петрович катался, как сыр в масле. Красивая хозяйская дочка Стася часто поглядывала из за кассы на молодого офицера, а он подолгу размешивал густые сбитые сливки на шоколаде, превращая их в плоскую бурду и не сводил глаз с русой головки. Из за букета ярких гвоздик Стасе был виден он весь, с головы до ног, а он ловил лишь минутами лукавую улыбку, искристый взгляд.

А потом случайные встречи на бульваре, на Новом Святе, на Маршалковской. Не случайные на Масляннице, в маскараде. На Рождестве, — елки в клубах. Балы. Пасха, пикники и встречи, встречи, встречи...

Жить без серых лукавых глаз Стаси стало скучно. Сделал предложение, — в ответ получил, —

„ ах, люби меня без размышлений, без тоски, без думы роковой, без упреков, без пустых сомнений, что тут думать, — я твоя, ты мой ”..... написала Стася.

— Стася, это не шутка, я хочу иметь тебя моей женой. Я отдал тебе мое первое чувство, — любовь и хочу иметь взамен то же, ни на час, ни на день, а на всю жизнь.

Она гладила ласково его темные брови, усики и смеялась.

— Подростешь и узнаешь, что это невозможно для красивой женщины. Верь мне, это страшно трудно. Невозможно, коханый мой, сердце мое...

И он ошеломленный уехал на праздники к матери в город, тихий засыпанный снегом. Его больше не радовали огни веселой Варшавы, ее блеск, — маленький Париж, как называли гордо Варшаву жители.

Город Н-ск, весной весь в вишневых бело-розовых садах, зимой засыпан снегом до самых окон, с уютными домиками. По краям дороги прочищены тропинки для пешеходов. Дорога разъезжена дровнями с широкими отводами, жители в глубоких галошах, розовые от мороза щеки, с ясными от чистого снега глазами, с таким цветом лица, что позавидует любая красавица.

— Ну и воздух ! говорил каждый, попавший из больших городов в это снежное голубое царство.

Город обычно сонный, спокойный с множеством монастырей, церквей, крестными ходами и молебнами, два раза в год оживлялся бегами на Рождестве и Маслянннице. Особенно приятное развлечение, — выезды, соревнование лошадей, экипажей, — чьи рысистее, машистее, красивее, богаче. Дамы в соболях, куньих шубках. Лисьи ротонды. Полости медвежьи. Кучера в павлиньих перьях, в бархате. Шинели. Поддевки. Медвежьи шубы.

А лошади ! Ах, на знатока только, такие кони ! Залюбуешся. Гордые, себе цену знают. На проездке, как девушки, опустив ресницы, видят и замечают, кося глазами, настоящих любителей и знатоков. И выбрасывают стройные ножки, с отточенными по зимнему сапожками-подковками.

Анатолий Петрович отдал честь всем развлечениям.

Приехав к матери, Анатолий Петрович познакомился с барышнями, а те, увидев красивого молодого офицера, стали появляться чуть не ежедневно и между молодежью завязалась большая дружба. И здесь вдруг пришла ему мысль о женитьбе. Я докажу Стасе, что можно любить одного. И взор его упал на Маню Богданову. Ему нравилась ее гибкая сухая фигурка. Смеясь щурились большие карие глаза и к тонким змеящимся губам забавно наклонялся, когда она смеялась, кончик острого носика. Во время безконечных балов, маскарадов, он заметил, что Маня любит кокетничать.

— А пожалуй с такой не докажешь, что существует любовь до конца дней, о какой говорит мама, говорил отец и читать приходилось в старых книжках. Однолюбы... Ну, что ж, может быть старомодно, но за то, как чисто. Пронес цельный образ, не разменявшись, все отдал одной и от нее взяв все, без размена на мелкую монету.

И вот Анатолий Петрович, не смотря на увлечение Маней, заметил, что Мария Павловна нежнее и внимательнее к его маме. Тихая, малоподвижная, Мария Па-

вловна удивляла его своей гармоничностью. В ней ничего не было выпуклого, задевавшего внимание.

— Она похожа на озябшаго воробышка. Отогрею !

Однажды они шли по заснеженной улице. Луна придавала феерический колорит всему. Заснеженные сады, деревья — привидения, с простертыми ветвями, как объятия, тянулись у заборов садов. Мостики горбились обманывая, — ступишь и по колено в снегу. Дамам было особенно трудно от этих обманных лунных проделок. Калоши полны снега, длинные платья уже отяжелели от налипшего снега и Мария Павловна тяжело опиралась на руку Анатолия Петровича.

От лунной ли ночи, от тяжелой ли руки, но утром Анатолий Петрович сделал предложение Марии Павловне. Старушка мать благословила, а Маня, приглашенная подружкой на свадьбу Марии Павловны, согласилась, скрыв горечь и обиду. Она, красивая, изящная, умница и будет сидеть в старых девах, а эта непропека, скучная, серая, венчается с красивым офицером, уезжает от надоевших знакомых и заживет там веселясь. С этаким то мужем не соскучишься, да и поклонников на новых местах, наверное, хоть отбавляй. Целый полк молодежи.

— И как это так случилось, ведь ухаживал то он за мной. И Мария Павловна и мать ее и моя поздравляли меня с победой...

Не понимала она только одного, что мысли ее и Анатолия Петровича скрестились на одном перекрестке. „ У Мани поклонников будет хоть отбавляй, а у Марии Павловны будет только муж и семья ", так думал Анатолий Петрович.

Мария Павловна не верила своему счастью. Целый день она ходила как в тумане. Ей казалось, что вот она проснется и все узнают, что на самом деле подружкой на свадьбе будет она, а замуж выйдет Маня Богданова. Но поутру ей прислали из магазина цветы с приветом от него на крохотной голубой атласной карточке и бонбоньерку из кондитерской Трошлева, с великолепным голубым бантом.

Маня отметила и злорадно подумала, — пунцовые розы — страсть. Розовые — нежная любовь, а голубой цвет ? Дружба, симпатия... Ну, милая, на этих чувствах далеко не уедешь...

Но так или иначе, а поезд умчал молодых в Польшу, в веселую жизнерадостную Варшаву. Зима прошла весело, дружно. На вернисаже картин встретились с Стасей. Та широко открыла глаза и поняла почему Анатолий Петрович не был ни разу в цукерне. Конец улыбкам. Конец прогулкам, — тоскливо заныло в душе... Но бойко взгля-

нув на него, она улыбнулась, как прежде. Еще неизвестно, кто это грустная дама в трауре. Мария Павловна совсем не была в трауре. Но вид ее всегда „ такой ”, печально траурный, многих вводил в заблуждение. Потом Стася узнала, что это его жена. Настоящая жена, и скорее с сожалением, чем со злостью подумала.

— Ну и убил бобра, но он будет моим опять, красивый, глупый хлопец. Разве жизнь можно переломить ?..

Родился ребенок. Анатолий Петрович радовался. Все говорили, — после первых родов женщина расцветает, как цветок. Но Мария Павловна не расцвела, — осталась такой же. Маленького Толю любила, нежила, целовала худенькия ручки, ножки. Любовалась хмурым, таким же опухлым, как у нее, личиком... И часами могла сидеть у колыбельки, где безмятежно спал ребенок.

Анатолий Петрович получил то, что хотел, — прекрасную верную жену и мать. Ее никуда не тянуло и не хотелось никаких развлечений.

Ребенок, портрет матери, тихо догорал неизвестно от какой болезни. Врачи лучшие не знали чем болен и не могли помочь, долго поддерживая это хилое тельце.

Это была первая семейная драма. Оба горевали. Душа Марии Павловны была надорвана. Жизнь потускнела. Но она понимала, что надо держаться из всех сил, и не дать войти под их кровлю апатии и скуке. Горе, это одно, скука — другое. Это смерть, самоубийство. И она вошла в роль, чуждую ей. Она старалась быть оживленной на вид, охотно принимала знакомых, сами ходили к друзьям. Но на душе у нее было тоскливо и в доме пусто, и когда он уходил на службу, она часто плакала у кроватки сына.

Душа Марии Павловны была полна через край сомнениями, муками, недовольством собою. Она вставала утром и посмотрев в зеркало на свое серое лицо, пока не проснулся муж, спешила умыться, одеться, причесаться, так непривлекательна казалась она себе. Даже прислуга никогда не видела ее в безпорядке, в утреннем капоте. Ей всегда казалось, что мужу скучно и лишь ребенок привязывал его к дому.

Она любила Анатолия Петровича всеми силами обиженной женской души. Ведь до него не было никого, кто бы оказал ей внимание, хотя бы чуть поухаживал за ней, как говорили в доброе старое время о молодых людях, отдающих свое внимание барышням. Она до встречи с Анатолием Петровичем не видела, чтоб бы хоть кто нибудь заинтересовался ею, задержался подле нее дольше, чем требовала вежливость. И вот это терзало ее, и она смущалась лаской мужа, — сомневаясь не делает ли он

усилия этот добрый сердцем человек, не сожалеет ли об опрометчивом поступке, теперь связав свою жизнь с ее серенькой жизнью.

Смерть ребенка подкосила совершенно душевный покой. Пока муж был на службе, она бежала на могилку сына и сидела там, погруженная в безрадостные мысли. Душа ея рыдала и ей казалось, что она потеряла самых любимых, самых дорогих. Не лучше ли, не честнее ли освободить от себя этого доброго человека, случайно давшего ей счастье прожитых с ним лет.

Захворала мама, вызвали Марию Павловну. Она даже будто обрадовалась.

— Маме все разскажу. Она все поймет, посоветует. Чувствую какую-то фальшь. Играть мне не по силам.

Но маме разсказать не пришлось. Совсем слабая, с шатнувшимся мозгом, все воспринимала по своему. И пришлось все разсказать Мане. Та правильно охватила положение и ей стало жаль подругу дней своей весны. Надо помочь.

— Отдохни и поезжай. Без роли счастливой жены не обойтись. Постарайся не мучить себя и не навязывай слишком ему свое общество.

Пока подруга изливала свое горе, без слез, с сухими глазами, бледная, сжавшаяся, словно побитая, у Мани накипала в душе жалость, гнев, горечь, обида за подругу, несумевшую использовать счастье свалившееся в руки. На глазах сверкнули слезы, — она быстрым рывком вскочила и закружилась в вальсе, напевая.

„ О, Гейша, пой, играй, пляши,
Скрывая боль своей души.
Хоть в сердце яд, пусть блещет взгляд.
Ты пой, играй перед толпой.
Ты пой, пляши, томясь в душе тоской.
Хоть в сердце яд, пусть блещет взгляд.
Ты, Гейша, пой перед толпой !”

— А почему ты не выйдешь замуж ? спросила Мария Павловна, когда Маня остановилась.

— Не могу любить кого попало, кто введет меня в дамы. А того, кого могла бы полюбить, не нахожу, или ему не нравлюсь... Так и кончу жизнь девицей, — разсмеялась сквозь слезы Маня...

Всю ночь проговорили подруги, до разсвета и Марии Павловне показалось, что она постигла науку Мани...

После отъезда Марии Павловны, Анатолий Петрович почувствовал пустоту. Он стал чуть ли не ежедневно заходить в цукерню и Стася смотрела ему в глаза безмолвно требуя ответа.

— Счастлив ли ? Не помочь ли найти в жизни прежнее ? Беззаботную шутку, глупенькую смешную любовь, на час, два ?

Пока он не был дома, он как то забывал о Марии Павловне. Забывал, что он не свободен. Но вот он дома. Портреты малютки, сосет крохотный кулачек. Большие темные глазки в упор смотрят с фотографии, а худенькие рученки забрали вверх задранные ножки. Вот он на руках у Марии Павловны. И сколько нежности, любви в ее темных обычно печальных глазах. Ему стало до боли жаль жену, — что он ей дал ? Любовь ? Сухую любовь. Не была ли такая любовь обидой ? Разве так и то переживал бы он, будь его женой Стася, даже Маня... Нет, его программа намеченной жизни была эгоистична. И он решил поехать за Марией Павловной, но все откладывал. Причина ? Но ведь если причины нет, их так легко создать, было бы желание.

А сезон в Варшаве разгорался. Оперета. „Польская кровь ”. Высокая, стройная Люси Мессаль. „Разведенная жена ”. „Периколла ”. Маленькая, изящная Невяровская, — пленяли, чаровали. И часто он возвращался, напевая из „Мартына Рудокопа ” или из „Прекрасной Елены ”. А, повернув ключ в дверях, неизменно думал.

— А была бы Мария Павловна дома и пикнуть бы не посмел эти мотивы и слова... И опять откладывал. Но дальше откладывать было уже невозможно. Мария Павловна писала, что присутствие ее совершенно безполезно, так как мама почти никого не узнает. И он поехал за Марией Павловной и они ласково и мирно отправились в Варшаву.

Но холодок и отчужденность чувствовалась обоими. Словно была какая то настороженность. И они просто и мирно зажили, никогда не говоря об утрате.

Вот почему, когда эта скучная тень тихо бродила по комнатам, безшумно убирая что нибудь в гостинной, столовой, он, сидя в кабинете, прислушивался, — хоть бы разбила что нибудь, уронила... Но тихие шаги замирали в спальне, откуда не убиралась кроватка маленького Толи. И словно тень его, грустная, обиженная тень, мешала радости...

Однажды Анатолий Петрович повез жену в оперетку. Давали „Мартын Рудокоп ”. И когда артист по ходу пьесы запел, —

„Мой любимый старый дед
Прожил 75 лет.
Как то сидя у ручья
Слушал песню соловья, —
Где ты, где моя любовь ? ”...

Анатолий Петрович увидел искоса, что Мария Павловна смахнула непрошенные слезы с длинных ресниц...

Нет, видимо, рецепт Мани не подходил Марии Павловне. Гейша, увы не могла ни петь, ни плясать, скрывая боль души и яд точил сердце, не давая блеска взгляду...

И мысль освободить мужа от себя крепко засела в голове Марии Павловны. Но как ? Говорить с ним откровенно, — это слишком доброе сердце... Я мучаю его и себя... И однажды Анатолий Петрович, вернувшись поздно домой, увидел записку приколотую к подушке.

„ Прости родной, что уехала не дождавшись тебя. Поезд уходит в 9.15. Я ждала до последней минуты. Получила телеграмму от мамы, она очень больна. ” Телеграмма, в действительности, была от Мани, — Мария Павловна написала ей честно все, что камнем лежало на сердце и та не задумываясь махнула телеграмму.

Тихо покачивался вагон и душа Марии Павловны отдыхала. Ах, как трудно было, — „ О, Гейша, пой, играй, пляши, скрывая боль своей души ” ! Бедная Гейша, Мария Павловна не сумела и этого.

Анатолий Петрович понял, что отрезанный ломоть не прирастет, но писал, звал, убеждал и получал только ласковый ответ.

Летом уехал он со Стасей в Венецию, а зимой, на Рождестве приехал кто то, с кем Стася уехала совсем и ее заменила в цукерне рыженькая синеглазая Ванда.

И когда уехала Стася, Анатолий Петрович понял, в первый раз, какую боль несла в сердце его жена, тихо, ни разу не показав.

Прошло пять лет. Умерла мама Анатолия Петровича и он приехал в тихий городок. Навестил Маню Богданову, встретились дружески. В этот год была мода носить офицерские шинели и все барышни и дамы оделись в офицерские серо-голубые шинели с пелериной. К Мане шло. Она, смяв на голове нечто вроде бобровой папахи, бравируя ходила в этом экстравагантном костюме. Зима была снежная.

Мария Павловна искренне обрадовалась увидя мужа. Она взяла двух сирот, — мальчика 7 лет и девочку 5-ти из приюта и растила их как своих. Весь отпуск Анатолий Петрович пробыл у жены. Ему понравилась тишина и заснеженный сад. И вальс Глинки, что дети играли в четыре руки на фортепьяно. И Мария Павловна в своем сером платье.

Подходил момент отъезда.

— Поедемте все ко мне, Манюша, родная. Поедем.

Я полюбил ребятишек, тишину. Маня, уговорите Марию Павловну.

Но Маня, вместо ответа, завертелась в вальсе, напевая, словно напоминая Марии Павловне, уже готовой сдаться на мольбы мужа.

— О, Гейша, пой, играй, пляши...

Мария Павловна в обе руки мужа вложила свои и тихо сказала, —

— Обожди, мы приедем.

# „ГНЕВ"

Две тетради. Шопен и Рубинштейн. „Демон" моя любимая опера и вальсы, ноктюрны Шопена. Редкий вечер я не играл их. Те ночи, когда возвращался домой, как бы и с кем не проводил я их, я играл. Без этого я не мог уснуть. Они вставали в моей памяти и я мысленно пел их.

Случилось несчастье, — искалечена рука и я хромаю. Мне уплатили за искалеченную руку восемь тысячь, но ничего не уплатили за искалеченную жизнь.

В углу по прежнему стоит рояль. Этажерка с множеством тетрадей, в них любимые оперы, романсы. Они мне стали чужими, недоступными. И глядя на эти знаки, которые я не могу услышать, которые не выливаются больше в дивную гармонию, — я стучу от злости по столу моей искалеченной рукой до боли, до судорог, до слез. Слезы текут непроизвольно, — я не плачу, — я злюсь, бешенно, неудержно растравляю себе душу. И рояль молчит...

Как странно сложилась жизнь. Молодость, силы ушли на вздор. От матери унаследовал бешенство и злобу, делающую человека остервенелым при каждом малейшем протесте, сопротивлении. Отец говорил, — ну, характерец, слыша и видя расправы матери.

„ Скачи враже, як пан скаже ", шутя успокаивал он ее, и она обрушивалась на него, забыв о виновном. Отец охотно отвлекал на себя ее гнев. Разница в ее и моем характере лишь та, мать не знала угрызения совести, а я... Я, нагрубив, переживаю потом все, все сцены моего хамства, грубости, несправедливости со страшной мукой, раскаянием, болью. Готов упасть на колени, молить простить. Готов, но я этого не делаю. Обиженный не знает о моих муках и, или мы расходимся совершенно, или отношения становятся холодными, натянуты-

ми и я чувствую, что меня еле терпят. Пока я работал время проходило быстрее, а сейчас...

Жена от меня ушла и увела дочку. Я понимал, что жить с бешенной собакой несладко, оправдывал ее в чужих глазах, но сам обвинял ее в тысяче преступлений, как могла она бросить меня одного, зная мой бешенный характер. Я понимал, что эгоизму моему нет предела, но все же обвинял ее.

И вот один. В чужом городе. Один раз в неделю официальная встреча с семьей, я иду к ним. Жена устроилась хорошо. Открыла маленькую мастерскую, работает добросовестно и дела идут блестяще. Всегда ровная, спокойная. Дочка унаследовала много от моего характера. Ядовита, дерзка, остра на язык и никогда никем не будет любима, как и я. Она мила. Работа в этой стране смиряет ее, словно тугим ошейником стягивая ее характер. Мне ее жаль. Неужто также холодно и одиноко пройдет ее жизнь. И люди, даже дружески и любовно подходящие к ней, будут спасаться от нее бегством, не вынося ее характера.

Меня душит злоба при мысли об ее судьбе, злоба. Неужели никакое другое чувство мне недоступно? Значит злоба и страх одиночества.

Я вижу веселых славных людей, встречаюсь с ними, чувствую, что я умнее, более развит, чем они. Но они живут, смеются самым простым безобидным глупеньким вещам. А я смеюсь лишь тогда, когда мне удается сделать какую нибудь злую шутку, сказать человеку остро поперченную гадость.

Ах как мне не достает сейчас здоровой руки, что бы подсев к черным и белым клавишам сыграть „ Импромтю ” Шопена или хриплым баритоном пропеть „ На воздушном океане без руля и без ветрил ”. Ах, именно без руля и без ветрил прожил свою дикую жизнь.

Пенсия моя крохотная. Понемногу трачу, полученные за искалеченную руку, деньги. Они тают. А дальше? Мысль уйти совсем все чаще гвоздит в голову. Уйти добровольно, когда вражеские пули милостиво избегали меня, словно насмешливо говоря, — пуля для тебя была бы счастьем и покоем, а вот ты поживи ка среди людей, с твоим норовом, причинившем много боли и обид людям подходившим к тебе. А ведь были такие, когда был молод. Любили, верили и уходили с горечью и обидой.

Пробую играть левой рукой... Только бешенство вызывает одинокая несуразная мелодия. Отчего мысль уйти из жизни преследует меня сейчас, до исступления?

Случайно на вечере-балу меня заинтересовала дама, сидевшая в кругу друзей, весело смеялась, оживляя

большой стол, ухитряясь говорить со всеми с таким видом, что каждый мог принять ее расположение на свой счет.

Я спросил кто это. Я до сих пор редко бывал на балах. Ни характер мой, ни костюм не подходили к большому обществу. И почему я именно попал на бал в этот вечер, — не пойму. Услышав фамилию дамы, я изумился. Много лет тому назад, в ссылке, я знал даму, носящую эту фамилию. Она тоже отбывала наказание на далеком севере... Большевики ведь щедры на этот счет... Я подошел, не выдержал, хотя одет был скверно. Синяя рубашка помятая, не совсем опрятный воротничек, рукава забиты поглубже, — подошел, спросил. Узнал, что та ссыльная могла попасть в руки большевиков, т. к. муж был убит большевиками.

— Муж этой сосланной дамы и мой муж были родные братья, сказала мне г-жа Н.

Я стал „ выезжать ", оделся не по советски и больше мне не приходилось прятать поглубже рукава голубой рубашки и извиняться за туалет. Я оделся по барски и стал изображать барина... Но, увы, характер не изменился.

К новой знакомой, г-же Н. меня тянуло что то новое, необычное. Она не подходила ни под одну мерку, какую я к ней прикидывал, — все что то мешало ей влезть в штампованный размер. Таких я еще не встречал. Стали встречаться все чаще и чаще. Она была не молода. И годы шли, мы все старели, я бы сказал прокисали, но она старея внешне, не старела духом. И перестав увлекаться выездами, танцами, стала писать и как! Разсказ за разсказом, книга за книгой... Я увлекался ее выдумкой, легкой, как птица, летящей еще неведомо куда, поднимаясь с насиженного места. Мы стали часто встречаться, спорили, но совсем непонятно для меня, в спорах я употреблял человеческий язык, без моих советских хулиганских выходок. Я критиковал, советовал, умно, тонко, я старался быть приятным собеседником, другом и добился того, что был взят как истинный друг. Часто сначала я критиковал вступление, но к концу понимал, что именно это вступление диссонанс и нужно было для такого конца...

В женщине этой была такая мягкость, гармония и что то непохожее на всех, что смягчало мою дерзость, мой азарт, и я не узнавал себя. Ни одной грубости, ни одной залихватской шуточки, плоскости я не промолвил за все время наших встреч. Когда я говорил что нибудь скверное, думая вызвать гнев, — это словно проходило мимо нее незамеченным.

Она мне напоминала своим видом англичанку в разсказе Ант. Чехова. Когда хозяин дома, где служила гувернантка при мальчике, выведенный из терпения ее хладнокровием, безразличием стал раздеваться при ней на берегу реки, где англичанка удила рыбу, она хладнокровно продолжала удить словно не замечая плоского скверного поступка хозяина... И он сконфуженный, обозленный ушел.

Я называл трусостью ее полное нежелание вступать в споры с хулиганящими людьми, письменно и устно... Шумно выражать свои мысли по острым вопросам, если она видела, что с окружающих столов люди прислушиваются. Иногда я нарочно начинал разсказывать сальный анекдот, что бы посмотреть, как она будет реагировать. Вид англичанки, забарикадировавшей себя от всяких хулиганских выходок, безразличием, — это выводило меня из терпения...

Однажды я увидел ее в окно кафэ, сидящую в обществе других людей. И между ними был один господин, которого я презирал за ничтожество. Я вошел. Я был уже взвинчен после визита к жене и дочери, я возвращался от них. Знал и чувстовал наростающее бешенство ко всему и всем. Чувствовал, что заходить не надо. Произойдет что то гадкое, непоправимое. Знакомый читал стихи. Прослушав две три вещи, я объявил, что это все писано-переписано и козы, и позы, и грезы, и морозы, охота повторять. Другой стал что то говорить в защиту поэта. Поэт сидел сжавшись, бледный. Во мне разгоралась злоба.

Зачем пришел, испортил настроение людям, хорошим, спокойным, здоровым. Ага! вот оно. — мозг их здоров, благодушен. А я? А я снова повторил зло, некстати о ее трусости. Она шутя сказала, —

— Нас с детства учили, — „ на любимую мазоль ей наступят — злится, — но сама ж, скрывая боль, тотчас извинится ". Ах, вот как ! Значит из „ бывших ", дворянку, ну так добавлю, поперчу...

Мне показалось, что лучше я уйду куда нибудь дальше от людей, которые раздражают меня часто своей нелепостью, непониманием простых вещей, упрямством, самолюбованием, которого у меня совершенно не было...

Я всегда справедливо оценивал свои поступки и не восхищался ими, — а терзал себя...

Итак я решил уйти к природе, — в лес, поля, к реке, м. б. там я найду покой или по крайней мере, я не буду будоражить людей своим характером. Я ушел... от всех.

На берегу реки в заброшенной рыбачьей хатке я поселился, одиноко. Сначала был восторг покоя. Я жил,

дышал упиваясь просторами и одиночеством. Ничто меня не раздражало или мутило мой ум. Однажды встретил огромного пса. Он скучно бродил по песчаному откосу, глядя вдоль реки. Иногда положив голову на вытянутые лапы, он жалобно скулил, словно оплакивая кого то ушедшего. Может быть пароход, или лодка, или просто волны унесли его хозяина вдаль. Мне показалось что то одинаковое в нашей судьбе.

Я подошел к нему без страха, потрепал лохматую черную шерсть, ласковый пес поверил мне. Я пошел к дому и он пошел за мной.

Я удил рыбу, кормил себя и пса. Изредка ездил в город покупать запасы, нужный провиант, заходил к себе на квартиру и понял, что мое вечное раздражение словно покинуло меня. Я, например, спокойно погладил рояль и левой рукой сыграл шумановскую мелодию. Пес стоял рядом, закинув ухо на бекрень, словно действительно слушал меня и понимал. Мы разделили с ним большой бифштекс, а вечером стало скучно и мы ушли с ним в нашу рыбачью хижину, забрав с собой скопившуюся почту.

Огромное желтое пятно луны выкатило из облаков и залило все мутно желтым светом. Пса я назвал „ Грумка ” и он сразу принял эту кличку. Мутно желтое пятно луны ему не понравилось. Он вытянул передние лапы, положил на них красивую умную голову и опять тихонько заплакал, подвывая как в ту ночь, когда я нашел его на берегу. Может быть в ту ночь, когда его покинул хозяин, была такая же лунная тоска.

Однажды мой „ Грумка ” исчез. Я пошел домой, думая не отправился ли „ Грумка ” на квартиру. „ Грумки ” не было. Но за то я встретил двух знакомых, которые насмешливо допытывались, какая чаровница заставляет меня вести такой фантастический образ жизни, такой мистический, такой сентиментальный, меня, человека обеими ногами крепко стоящего на земле... Их ехидные слова очень ловко замаскированное участие и дружеские советы, привели меня в бешенство и все то спокойствие, накопленное мною на берегу реки моей жизни с „ Грумкой ” смыло, как водой.

Отделавшись от них, громко хлопнув дверью, вошел к себе. На столе стоял прекрасный старый сервиз, случайно найденный мною у Антиквара и купленный в память того сервиза, который был унитожен в 17 году. Не раздумывая, я схватил чайник, сахарницу, чашку с остервенением бросал в угол и вдруг мысль прорезало.

— Болван, ничтожество, из за пустой глупой злобы ты уничтожаешь такую прекрасную вещь, — и чашка,

которую я хотел бросить, была поставлена мною спокойно на блюдечко.

— Ага, — спокойно сказал я себе, — Значит ты можешь заставить себя не делать этого и значит весь твой гнев, просто распущенность.

Совершенно спокойно я взял тросточку, кусок хлеба и пошел в хижину. „ Грумка " спал, словно ожидая меня, встал позевывая, лизнул руку в знак приветствия и мы мирно уселись в хижине пережевывая наш ужин...

Много лет прошло с тех пор и каждый раз, когда во мне накипало бешенство, я вспоминал задержанную в руке чашку. Бешенство угасало.

Я стал спокойный и уравновешенный человек, как все. Я никому больше не порчу жизнь, а главным образом я не порчу жизнь самому себе.

## "ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР"

Молодой писатель увлекался „ Цыганским табором ". Так называлось небольшое увеселительное учреждение, где по вечерам выступал цыганский хор. Работать писателю приходилось много и тяжело для того, что бы жизнь его походила на человеческую, как говорил он, т. е. что бы он мог быть прилично одетым, устраивать пирушки изредка, прокатиться на лихаче и вообще вести жизнь, не отказывая себе.

Его холостая квартира очень мало напоминала холостую... Нигде не видно было натыканных окурков в цветочные горшки, в вазы с фруктами, посыпанных пеплом диванных подушек, стаканчиков и рюмочек с недопитой влагой и ликерами, уютно прячущихся на этажерках и на подоконниках, смятой до 4-5 часов дня постели, никем не убранной.. Нет, квартира его скорее походила на уютное гнездышко молодой девушки. Везде царили порядок, чистота. Он вставал в семь часов утра, убирал свою комнату, взбивал подушки, как полагается — горой, все расставлял по местам и притворяя дверь в спальню, бросал внимательный взгляд на красиво убранную постель, покрытую стеганным, шолковым, коричневым одеялом. Приведя себя в порядок, аккуратно одетый в синюю пиджаму, которая скорее напоминала синий летний костюм, он приготовлял завтрак с той же чистотой и опрятностью и прибрав кухню тщательно, уходил в угловой, уютный кабинет и начинал писать очередной фельетон или разсказ.

День его был весь размерен. Посетив редакции двух трех журналов и газет, побеседовав с коллегами, он шел обедать в ресторан, а оттуда отправлялся в городской сад.

Пруд, великолепные аллеи каштанов, играющие дети. Иногда хорошенькие барышни, отдыхающие в поэтичных позах на скамейках, иногда весело болтающие с подругами, — все это вдохновляло его и он бродил по песчаным золотым дорожкам, уже намечая себе канву нового разсказа.

Единственно, что мешало его размеренной жизни, — это „ цыганский табор ". Как восемь часов, его уже тянуло. Даже интересная повесть или разсказ, или статья, которую он должен был обязательно закончить к „ завтра ", не удерживали его. Он смотрел на часы, — восемь, половина девятого, его словно взмывало, он бросал перо, одевался и уходил в „ Цыганский табор ". Там была одна смуглянка, — как огонь. Как она танцевала, как она пела ! Звали ее Шура Молдованка.

В сущности в этом ресторане не было ничего заманчивого. Прислуга была одета в какие то вылинявшие шелковые и бархатные цветные шаровары, в шелковые цветные рубахи не первой свежести, черноволосые, черноглазые и не очень приветливые. Блюда не отличались разнообразием и почти всегда он ел только почки в томате, на сковородке, вокруг пылающего спирта. Прежде всего, это ему нравилось. Во вторых, это считалось в ресторане самым „ шикарным " блюдом и потому лакеи сразу делались любезнее к заказчику почек с томатами и на огне. Запивал он нашим отечественным Абрау-Дюрсо и считался „ шикарным " гостем. На него то и поглядывала чаще всего Шура Молдованка.

Имя это, конечно, было ею присвоено, т. е. взято на прокат, ибо настоящая Шура Молдованка была в это время очень стара и артистическая карьера ее была вероятно закончена, так как следы ее пропали. А подхватила это имя широколобая, кареглазая девченка лет 17-ти, худенькая, скуластая, с оливковым цветом лица и эта оливковая бледность удивительно гармонировала с улыбкой.

Это была необыкновенная улыбка. Зубы белые, но не как фарфор, а как светлая слоновая кость. И улыбка была, — откуда она взяла эту улыбку ? Вероятно ангелы улыбаться должны так. Что то неземное, упоительное было в этой улыбке. Когда она опускала веки, это были тонкие, тонкие веки с тяжелыми ресницами. Хороша была Шура Молдованка ! Худенькие руки и вся как былинка гнулась она в танце. А когда танцевала, платье ее никогда

не развевалось, обнажая ноги, а взлетало узкой полосой вверх, обвиваясь в то же время около щиколоток и делало ее скульптурной статуеткой.

И вот этот танец Шуры Молдованки сводил с ума публику. Говорили, — она пленяет всех своей фигурой, но писатель поправлял.

— Позвольте, ведь фигуры у нея нет никакой. Это тростинка без всяких контуров, — смеялся он. Это стихия, вихрь, а не жещина.

Но сам не замечая, он увлекался все больше и больше, обманывая себя, что он приходит сюда потому, что вообще любит цыганский хор, и как писатель набирается впечатлений. Встречается с друзьями, которые тоже охотно ходят в этот ресторанчик. Но дело не в том. Магнит была Шура Молдованка.

Цыгане вообще не любят, когда которая нибудь из них в серьез увлекается гостем. Цыганская семья крепкая, спаенная и все страсти, которые слышим мы в их пении и танце, это только для гостей, и увлекаются цыганки в меру. Очень редко бывало, в старину, когда цыганки увлекались князьями, графами и уходили из табора. И кажется, действительно, любили не своих цыган, а этих красавцев гвардейских офицеров, которыми увлекались.

Такие примеры были и когда писатель понял, что он любит эту Шуру не на шутку, он испугался и перестал ходить в „ Цыганский табор ". Он пробовал писать в те часы, когда обычно уходил в ресторан, но получалась такая каша и безсмыслица и пустота, что он махнул рукой на эту затею, сказав себе, — поздно ! думать надо было раньше и остановиться во время у края пропасти.

Почему пропасти ? спросил он себя, когда слово это прозвучало угрозой. Может быть счастья ? Красивая, певунья, веселая, как птичка щебечет. Надо подумать, приглядеться, что она, кто она, душой, сердцем, умом, ведь я знаю только ее песни.

И вот он стал часто приглашать ее к себе за столик. Это требовало подарков. То лишний раз пригласить хор петь специально для него заказанную песню. Работать он стал меньше, а деньги текли. Шура охотно шла к нему. Он был красив, молод, всегда хорошо одет, вежлив, никогда не хватал ее за голые плечи, вообще вел себя, как настоящий барин и часто, когда хор молчал, сидя около него за столиком, она вдруг начинала какую нибудь песню, как подарок ему. И вся публика с восторгом слушала. Шура обнимала его за шею рукой, как бы придерживая его голову и повернув к себе в пол оборота, пела.

„Для цыганки поверь, не нужна красота,
Ей лишь сердце подай, горячее огня,
А тому кто красив, но с холодной душой, —
Я скажу, черт с тобой, черт с тобой.

Я гляжу на тебя, ты неловкий такой,
И все в очи мне смотришь с тоской и мольбой.
Так пойди же ко мне, сядь поближе со мной, —
И целуй, шут с тобой, шут с тобой.

Не забудь ты меня, об одном лишь прошу.
Ведь я в жертву тебе мою жизнь приношу.
А разлюбишь меня, так махну я рукой
И скажу, черт с тобой, черт с тобой."

И она стремительно выпускала голову, одергивая руку, поворачивалась круто к его губам и не касаясь их откидывала голову. Писателя это сводило с ума.

Жизнь мчалась стремительно и также стремительно текли деньги. Подходил Великий Пост. Писатель однажды взял последние сто рублей и сказал, — баста. Работать буду без отдыха. Семь недель Поста он ни разу не был в „Цыганском таборе". Да и вообще он утонул в работе. Повесть за повестью, разсказ за разсказом он гордо нес в редакции. Они были красивы, огненны, новы, по идеям, по складу, динамичны. У него опять большие деньги, он богат, а главное, им заинтересовались и каждый пустячек находил место на страницах журналов.

— Это Шура своим огнем зажгла и выпустила на свет Божий мой талант, мою искорку...

На Пасхе он пошел в „Табор". Он был счастлив снова окунуться в эту жизнь, увидеть Шуру, обнять ее. Ведь семь недель он держал зарок не видеть ее. Она стучалась в дверь, — он знал ее порывистый звонок. Он слышал ее призыв. — „Бархатный мой ! Сереженька ! Ласковый мой ! — Он молчал. И звонки, и стук, и ласковые слова замолкали. Он научил ее писать и теперь она засыпала его письмами, призывом придти, она очень скучает... Но и на письма он не отвечал...

И вот он с забившимся сердцем отмахнул драпировку и шагнул в мерцавшую притушенным светом, комнату. Шура сидела за ИХ столом, обняв рукой за шею красивого плотного блондина и пела ,как когда то пела ему, —

„Ах, да пускай свет осуждает,
Ах, да пускай клеймит молва.
Кто раз любил, тот понимает
И не осудит никогда."

Неужто лгала, не любила ? Сердце сжалось больно, стыдом, — поверил продажной цыганке, таборной певице. — Эх, ты ! Хотел уйти, но подошла быстро Зара, взяла за плечи и повела к столу. Сели. Сердце полыхало, но он держался.

Ага, богатый ! Хор подошел к Шуре, чего никогда не делал, когда Шура была с ним, это стоило дорого и Шура не позволяла. Спели „ чарочку " и блондин бросил сотню на поднос. У Шуры на худенькой шейке чудесное дорогое ожерелье. Серьги, браслеты. Продалась, — горько подумал он.

Шура смеясь пела, глядя на него, —

„ Ах, какой же ты хороший, милый мой !
Эх, полно пожили мы в радости с тобой. "

— Зара, пусть Шура потанцует.

— Она больше не танцует, уходит с ним из табора.

Его словно взмыло, волной бросило ввысь и метнуло на дно.

— Скажи, я прошу.

Та крикнула Шуре по цыгански. Шура тотчас встала, подняла высоко, сжав ладони, руки и вступила, напевая гортанно, —

„ Ака дяка румала, ака дяка чаволо ",

хор грянул и тонкая гибкая фигурка змейкой завилась, как вихрь. Когда поровнялась с писателем, он схватил за руку и рывком смаху посадил на колени.

— Шура, пойдем ко мне, сейчас, совсем. Ты будешь моей женой. Пойдем.

Она посмотрела ему глубоко в глаза, освободилась от его рук и стала снимать серьги, колье, браслеты. Все собрала на тарелку и пошла к блондину. Поставила тарелку перед ним, взяла в руки его голову и крепко поцеловав в губы, сказала, — Прощай !

Губы у него побелели. Он пытался что то сказать, но она закрыла ему рот рукой и быстро ушла...

На другой и последующие дни писатель был как в тумане. Дом его потерял свой девический вид. Шура с привычками бродячего табора, была повсюду. Жизнь пошла кувырком. Шура как птица пела целый день, играла на гитаре. Танцевала перед огромным трюмо, вытягивалась на медвежьей шкуре, перетащив ее из кабинета в гостинную, к трюмо, чтобы видеть себя во всех позах. Вечерами иногда ездили в „ табор " и Шура была лишь публикой, зрительницей.

Странная призрачная жизнь писателя не давала ему минуты сосредоточиться, задуматься, испугала его. Прошло сумбурное лето. Он не написал ни строки, ни выполнил ни одного заказа. Писатель умер. Родился какой то незнакомый ему человек. Он не верил, что он мог жить такой жизнью — мозг оглох. Порою пробуждался ужас.

Он почувствовал, что так жить дальше нельзя, что то нужно урегулировать. Но прежде всего надо работать, зарабатывать. А смогу ли я в этой обстановке, — птицы,

цветы, Шура и я, размеренный, уравновешанный, педант ? Голова раскалывалась от мыслей...

Утром однажды никто не погладил его русой головы, никто не поцеловал, не позвал — „ бархатный, иди пить чай " — ... Он удивился. Прошел в столовую. Пусто, Шуры нет. И нет никаких следов ее пребывания. Оборванная струна от гитары лежала на медвежьей шкуре у трюмо.

В ожидании ее прихода он взялся за книги радостно, лихорадочно, словно встретил старых друзей. Он стал успокаиваться.

— Нет, мозг не отупел. Я могу работать, — он стал рыться в записках, могу, могу работать, и работал до самозабвения.

Перед вечером Цыган принес записку. Шура писала крупными печатными буквами.

„ Бархатный не сердись, не сердись желанный мой. Мне стало плохо, я пошла в табор. И узнала весть, — у меня будет дитя, твое дитя. Но мы не венчаны. И теперь табор меня не отпустит. Я принадлежу им. Я таборная цыганка. Не ищи меня. Да и красота моя и танцы — все пропадет. И тебе буду ненужная. Будет сын — назову твоим именем, а девочка — Шурой. Прощай мой бархатный ! "

И он читал много раз корявые строчки и почувствовал такую пустоту, такое отвращение ко всем книгам, образцовому порядку его размеренной жизни. И тоска, тоска безмерная, куда ему скрыться от этой скрупулезной жизни.

— Сын, мой сын, — как молотом било в голову, — мой сын — цыган. Будет плясать в кабаке, в поношенной атласной рубахе, плисовых штанах. Мой сын ! Зачем размышлял, зачем не сдержал слово ?

Он сжал голову руками со всей силой. Утро застало его за тем же столом. Надо сделать все, что бы вырвать ее и сына. Он ни минуту не сомневался, что будет именно сын.

Говорить с цыганами, напрасный труд. Об их нравах он слышал от Шуры. К Полицмейстеру, к Губернатору, к адвокату. Предложить цыганам деньги. Он метался. Полицмейстер обещал содействие, но предупредил, — что дело плохо, насилия он не употребит. И посоветовал уладить с цыганами по доброму.

У цыган в ресторане, как обычно утром, был ералаш, грязный в окурках, залитой, замусоренный пол, вороха бумаг, грязной посуды на столах и небрежно одетые цыгане.

Зара ласково встретила его. Сели в уголке. Ни слез, ни упреков, ни гнева, спокойно говорила.

— Шуру старики увезли. Будет дитя. Придешь — покажем. Ты отец, но дитя принадлежит табору. Ну как докажешь, что это твой сын, — клейма на нем нет ? Кто посмеет отнять у матери дитя ? Кто докажет, что отец ты ? Не мучай Шуру. Иди с Богом. Будь счастлив и радуйся. Разве многие на свете имеют счастье ?!

Гортанный напевный голос Зары убаюкивал его...

— Зара, ты поможешь мне отыскать Шуру ?

— Потом помогу, — но по глазам Зары, он видел, что она лжет.

Сквозь закопченные окна сизая дымка заполнила неряшливую комнату. Он выпрямился и деревянными шагами вышел из ,, Цыганского табора.

# С КУРЬЕРСКИМ ПОЕЗДОМ

## По Николаевской железной дороге

С Литейного лихач свернул на Невский, по мягким торцам влетел на Знаменскую площадь и лихо осадил у широкого подъезда Николаевского вокзала.

Дана мысленно попрощалась с Петербургом. — Надолго ли ? подумала она и легко взбежала на гранитные ступеньки. Весело оглядела она уже собравшуюся публику, отъезжавшую с курьерским в 9.30 утра. Отметила обилие военных и хорошеньких женщин. Взглянула в зеркало и самодовольно улыбнулась.

Огромный светлый вокзал, посредине зала круглый, красный, бархатный диван, внутри его тумба с падающими с нее нарядными растениями. Все залито светом из огромных окон.

Спокойно, медленно двинулась публика на платформу и стала размещаться в удобных синих вагонах.

Дана заглянула в дамское купэ, — там уже сидели три дамы и оживленно весело беседовали. Она вошла в свободное купэ. Поезд тронулся.

Купэ первого класса. Курьерский поезд : Петербург - Москва - Севастополь. Только тихое колебание говорит, что поезд движется.

Ах, эти русские дороги ! Не экономили люди, строя широкие колеи. Не скупились. Приказ Императора Николая 1-го и широкий путь от Петербурга до Москвы лег прямо, как стрела. Так провел черту Император Николай Первый.

Вот станция Сортировочная с сотнями путей, режущих друг друга. Сотни вагонов с зеркальными окнами, сотни дачных простеньких поездов. Паровоз, сердито фыркая, проплыл мимо них.

Вот и станция Саблино, уже зеленая, цветущая. Поезд вырвался из каменных громад на волю. Пошли изумрудные, мшистые поля, кочки, возвышения, бугорки. Все покрыто ягодами : клюква, брусника, морошка, гоноболь, черника, — как разноцветные пуговицы на парчевом зеленом сарафане русской красавицы. Охотников полакомиться ягодами, хоть отбавляй. С котомками, корзинками, мешками, туесами, — для ягоды деликатной — морошки. Народ приходит с ближних мест, приезжает и поездами, — всего 20-25 минут от Петербурга, сразу же за Сортировочной и начиналось раздолье. Целый цветник сарафанов, платков и господских соломенных шляп. Морошка ягода редкостная, настоять на ней водку, Шустовскую или Смирновку, в бутылях, да потом слить, да переварить водку с сахаром, — так никакой абрикотин, шартрез, мараскин не выдержит сравнения, так тонок аромат. А болото, так, так только называлось, а по настоящему, даже трех четырехлетние ребятишки преисправно усаживались на кочки и ели ягоду до отвалу.

Для хозяек раздолье. Клюкву отбирали крупную, обмакивали в сбитый белок и чуть просушив — в сахарную пудру. Бруснику с яблоками антоновкой мочили и варили с корицей и гвоздикой, как салат к жаркому. Черника сушенная, — радость для желудка, а гоноболь, это „ блю берис ", что продается гомеопатическими порциями в Америке, в коробочках. А рябинушка ! По осени гордая своими пышными оранжевыми гроздьями, при закате и ранним утром, при разгорающейся заре, вспыхивает ими, как огоньками. Вот рябинушку работать труднее. Чтобы запасти впрок на зиму, нужно янтарно зрелые грозди осторожно обмакивать в кипящий крепкий сироп из сахара. Нужен опыт, сколько раз обмакнуть, 5-10 раз, зависит от ягоды и сиропа. Потом положить на решето, дать стечь, обсыпать пудрой сахарной и сложить осторожно в банку. Подавать в хрустальной вазочке. Красота ! Корешок завязать голубой лентой...

А поезд подходил к станции Чудово. Об этой станции у всех оставались приятные воспоминания, особливо у тех, кто любил и умел хорошо поесть. Там великолепно кормили. Держали буфет татары. В буфете все блестело хрусталем. Белоснежные полотняные скатерти и салфетки, как снежные пирамиды украшали приборы. Пальмы искусственные и живые оживляли буфет. Специальность была, — отбивная телячья котлета с гарниром. Бело-

розовая котлета на ребрышке, занимала она две трети огромной тарелки, чуть подрумяненная, кругом горы всякой зелени и спаржа, и шампиньоны, и цветная капуста...

Поезд стоял довольно долго и пассажиры старались приурочить свой аппетит так, чтобы съесть могли великолепную отбивную телячью котлету с гарниром. Тот, кто отведал хоть раз, никогда не забывал станции Чудово.

Но вот третий звонок, пассажиры, спешно вытирая усы, бросая на чай, спешат в вагоны. Блаженное „ долче фарниентэ ", а поезд пофыркивая подходил к станции Волхов.

Станция Волхов, и оттуда путь или по реке Волхов пароходом, или по железной дороге, через станцию Чудово (веткой) на старый вечевой город Новгород Великий.

„ Город воли дикой, город буйных сил,
Новгород Великий тихо опочил... "

И правда, этот город выглядит так, как будто на всем скаку, кто то удержал буйно скачущую тройку. Эти мрачные новгородские стены, монастыри, церкви, — все это темного гранита. Они не измельчали, не опустились, не разрушились, они словно замолчали до какого то, им одним известного, срока, и, может быть, завтра зазвонит снова вечевой колокол...

Мрачный Волхов катит свои темные воды в Ильмень озеро, где легендарный Садко пел песни под сладкозвучные гусли. Рыбаки приносят в рестораны поездов серебристую стерлядь, золотистых осетров в ивовых корзинках из реки Волхов...

Почти незаметно проехали станцию Тосна, откуда шло ответвление на Гатчину и Царские поезда обыкновенно направлялись по этому пути в Гатчину, минуя Петербург.

Меняется картина, станция Ушаки. Это станцию надо отметить, — зеленая, кудрявая, эта станция — дивное дачное место. Да и не мало там зимовало петербуржцев, служивших в Петербурге. Проехать полтора два часа в прекрасном поезде, одно удовольствие, а семья могла пользоваться чистым воздухом.

Некто Кокарев, миллионер, решил сделать доброе дело и огромный участок леса превратил в великолепный парк, понастроив массу домиков различной величины. Полный комфорт, тепло, чистый воздух, летом прекрасные сады подле каждого домика, детские площадки, крокет, качели, лаун-теннис, кегли, — заставляли многих задержаться и на зиму. Каток, музыка, катанье на санках и зимой было превесело. Все были как будто вместе,

никаких загородок, заборов, и все как будто врозь, в собственном поместьи...

Ну вот, доехали до станции Бологое. Ну уж кто же может удержаться и не выпить в буфете стакан чаю со слоеными пирожными. Ну и слойка! Тысячелистник с хрустом, а начинка — яблочная и черно-смородиновая. Сидишь, уписываешь штуку за штукой, не замечая, и чутко прислушиваешся к звонкам и возгласам огромного плотного человека в железнодоржной форме. Звонок и зычный крик :

— Первый звонок, поезд идет на Москву, поезд стоит на первом пути...

Часть пассажиров спешит расплатиться, на ходу покупая замечательные тверские пряники величиной, начиная от рыбы в четверть аршина до полутора аршина, две рыбы, схватившись кольцом, офицеры верхом с шашками, зайцы, крендели, русские бабы, целые шеренги солдатиков, — все это дивной отчетливой формы. А вкус! Надо ли говорить! Было бы невкусно — не покупали бы... Попробуй приехать домой без тверских пряников. Кто не успел купить на станции Бологое, покупает в Твери.

А беспощадный звонок и зычный голос объявляет :

— Второй звонок, поезд идет на Рыбинск. Первый звонок, — поезд идет на Петербург. Третий звонок — поезд на Старую Руссу. Второй звонок, — поезд идет на Москву...

Разсказывают : — один подвыпивший купчик слушал, слушал, да вдруг прильнув к груди своего приятеля, горько заплакал. Тот спрашивает, — Ты чего же, Сережа, плачешь? — Да как же не плакать, дорог много, а я один...

А поезд шипя, пуская клубы пара, уже снова мчался по прямому пути, по Российским необъятным просторам...

Дана смотрела в открытое окно вагона ласковыми карими глазами и сердце пело при виде всей красоты этого пути... Каждая станция, даже крохотная, была как букет. Деревянный вокзал, полисадник все в цветах, сад тенистый. На окнах вокзала кисейные занавесочки, клетки с певчими птицами и только первый этаж вокзала говорил о его назначении окошечком с надписью, — „Касса” и „Багажное отделение”. Но и тут ухитрялись поставить горшки с вьющимися растениями „бель де жур и бель де нюи”. А за станциями необозримые поля и леса.

Дана потянулась гибким, сильным телом. — Все мое, родное, — сказала она громко. От ее движения скользнула с дивана книга и упала на пол. Из книги выпал листок, написанный рукой. Дана не заметила...

Какой то господин шагнул в купэ и увидев Дану, снял мягкую серую шляпу и извинился.

— Простите, я ошибся.

— Нет, нет, это купэ не дамское. Я села здесь потому, что в дамском купэ уже три дамы.

Он вежливо поблагодарил и скромно занял место в углу у двери. Увидя упавшую книгу, поднял и положил на столик у окна, не заметив выпавшего листка. Дана поблагодарила улыбкой. Завязался разговор ленивый, пустой.

— Можно узнать ваше имя отчество?

— Дана Аристарховна, — и подумала, — наверно скажет комплимент имени.

— Какое красивое имя.

Ну, вот! — подумала она, и насмешливо улыбаясь, сказала, —

— Имя мое Дарья. Дали его мне при крещении в честь моей крестной матери. А Даной меня назвали потому, что наша кухарка носила тоже имя Дарья. Могли быть печальные недоразумения.

Подняв на нее глаза, — мне понравилось имя Аристарх... И тут она увидела какие у него скучные глаза, словно он что то потерял без надежды найти и она упрекнула себя за быстрый вывод о его банальности, на душе ее словно что-то потеплело.

— Подъезжаем к Подсолнечной, — сказал он, увидев стройные сосны ровного, как струнка мачтового леса. В бледно розовых далях, на прогалинах гигантов угасал закат.

— Вы наверное знаете, здесь санатория Доктора Соловьева?

— Нет. Я редко бывал в этих краях, еще студентом, а потом заграница... Позвольте представиться. Виктор Петрович Невзоров. — Он привстал и поклонился, добавив : Приват-доцент.

Давно пора представиться, шутливо подумала она. Какой он неловкий, все чего то словно боится. Не заграница ли его так напугала. Молод. Красив. Ученый, а как красная девица.

Поезд остановился. Где то совсем близко, в кустах станционного сада, заливался соловей.

— Курский, — уверенно сказала Дана.

— Откуда вы знаете? — удивился он.

— А по трелям. У меня отец был любитель певчих птиц, — канарейки, соловьи. Одна комната на антресолях была отведена под птиц певчих. Мы ребятами проводили там не мало времени. Подсвистывали им, да по

птицам и сами петь учились. Нет лучше курских соловьев ! — И они заслушались.

Поезд тронулся.

— Так вы заграницей жили долго? — и не ожидая ответа, — а я, вот, заграницу не полюбила. Нет простора, шири, все бледнее нашего. Может быть представлено лучше, красивее, эффектнее. Это уже от дрессировки. То же самое платье, да в Париже на Рю де ля Пэ, — она произнесла это как парижанка, — сумеют выставить виднее, шикарнее, покажут его в блеске опалового освещения, а у нас просто оденут манекен, без пафоса.

Он засмеялся. — Без пафоса, — повторил он, — забавно!

— Хотите я вам расскажу про санаторию? Это наше московское чудо. Доктор Соловьев лечит воздухом, физическим трудом, снегом, лыжами. И это сердечных больных! В этой санатории никогда не скучно, и никто не хочет верить, что он болен. Кормят прекрасно. Сам доктор с бородой, внушающей доверие, как и внимательные глаза его.

— Скажите что нибудь еще о загранице.

— Почему вы, живший там, спрашиваете меня, постоянно удирающей оттуда? Ну, хорошо, разскажу! Однажды, я, ночью, по колонне терассы спустилась со второго этажа на улицу, потому что хаусманн, постоянно дежуривший внизу, наверно не выпустил бы меня, не сообщив об этом маме. И вот я сидела на станции, ожидая поезда, что бы удрать на Вержболово и домой, в „ Подмосковное ”. Поезд приходил рано утром. Сидя на скамейке, на станции, я задремала. Предутренний холодок разбудил меня, а открыв глаза, я увидела старшего брата, сидевшего рядом со мной.

— Твой поезд ушел. Ты проспала его — говорил он серьезно, а глаза смеялись. Пойдем, пойдем пить кофе — и мы пошли. Это было во Франсцесбаде. Огромная липовая аллея чудесного парка, раковина, а в ней играет прекрасный оркестр, дирижер Добровейн, любимец публики. По аллее, под деревьями, тянутся ряды столиков, изящно сервированных. Дают чай, молоко, кофе, шоколад со сливками, сбитыми, как кружево, шапкой над кофэ, словно Эльбрус. Сели за столик. Уже с шести часов утра играет музыка, какой то зыбкий вальс убаюкивает меня и как в полусне сижу я.

— Куда бежишь? Какого рожна тебе еще нужно? Гляди, какая красота! И маму волнуешь... Хорошо, что я вернулся поздно или рано, назови как хочешь, прошел мимо твоей комнаты, тебя нет. Через парадное внизу ты не выходила и сразу догадался, — опять удрала. И

чего тебя тянет в Москву и... она оборвала не закончив фразы. У собеседника широко раскрытые полные ужаса глаза смотрели в окно. Огромная, оранжево-красная луна выкатилась из за стены темных сосен и смотрела в открытое окно вагона. Его взгляд, прикованный к луне, был взгляд кролика перед удавом.

— Задерните занавеску, умоляю, — прошептал он. Она послушно опустила синию шторку, потянула шнурок, зажегся электрический фонарь на потолке. Он успокоился...

— Спасибо! глубоко передохнув, словно извиняясь, сказал он.

— Вы боитесь луны?

— Да, у меня с ней неприятные счеты.

— А я люблю лунные ночи, так хорошо мечтается при луне, так хорошо выговаривается то, что без луны никогда не сказал бы.

— Луна страшная. Она тянет к себе.

— Да, я знаю. У меня была бонна, Анюта. Она вылезала из окна спальни и ходила по карнизу, как по Невскому проспекту. Зайдет за угол, мы жили в угловом доме, во втором этаже, и вернется. А я смотрю в окно, как бы она не упала. Стала и сама нервная. А так как это совсем не подходило к моей наружности — нервы — то наши стали замечать. Допросили и я рассказала мои ночные наблюдения, любование луной, страх за Анюту. Меня увезли в „ Подмосковное ” к тетке, где для развлечения нашли мне кадета. Ну все и обошлось. Да мы приехали! воскликнула она, заслышав шум на платформе и крики носильщиков. Один из них быстро вошел в купэ, подхватил картонку и чемодан Даны и вынес на платформу.

— Ну вот видите, как хорошо поговорилось при луне. Пожелаю Вам на прощанье излечиться от нелюбви к луне. Я уверена, что она даст вам не мало радостных минут и разговоров.

Он пожал крупную красивую руку Даны и задержав, словно размышляя, поцеловал.

Дана вышла. Он взял портфель и шляпу из сетки и хотел выйти, как заметил на полу листок бумаги. Поднял, прочел — там широким размашистым почерком было написано.

„ Унеси мою душу в ту синюю даль,
Где степь золотая лежит на просторе, —
Широка, как моя роковая печаль,
Как мое безисходное горе. ”

Неужели это принадлежит ей?! — вслух сказал он, смотря на широкий размашистый почерк. — Какой кон-

траст! — она и эти стихи. Нужно ее догнать, найти! и он бросился за ней вслед.

Дана исчезла. „ Ищу я ее только ли потому, что хочу спросить принадлежит ей эта бумажка, или движет и командует что то иное, неясное, большое, с чем можно преодолеть и лунный свет "...

И он искал, искал ее повсюду, но найти не мог. Поезд ушел без него.

Как глупо гоняться за призраками, — с досадой думал он. Но надо было что то предпринимать... Поезд ушел. Взял комнату в ближайшей гостиннице, а в семь часов утра покинул комнату. Ночь провел без сна. Жужжала большая сизая муха, забравшись под абажур на потолке, и тоненьким голосом пели победный гимн комары. От них на постели был полог, но под пологом было душно. В окно торчали ветки какого то лопастого дерева, то ли клен, то ли вяз. Он сорвал и отмахиваясь сел у окна. Мысль о Дане преследовала его неотвязно. Так и просидел он всю ночь.

Утренний поезд на Инзу уходил в 9 часов утра. В Сызрани ему предстояла пересадка и он лениво побрел на платформу.

— Глупо было не узнать куда едет, попросить разрешения писать ей. Она бы не разсердилась. Такая простая, без кривляния, искренняя и, — другой голос оборвал, — и страшна именно этой прямотой...

Лишь звонок к поезду, с которым ему предстояло ехать дальше, заставил его очнуться и войти в вагон. Он хотел сесть в свободное купэ и думать о ней, что бы никто не мешал, и вдруг, в дверях купэ мелькнул силуэт Даны.

Дана ! Навождение ! Додумался ! Вечный мечтатель, — одернул себя. Но все же прошел мимо купэ. Действительно, Дана стоит спиной к двери, смотрит в окно. Он окликнул.

— Дана... Аристарховна!

Оглянулась и на лице мелькнуло неудовольствие. — Что такое, преследует, ищет почему ?

— А-а, это случайность или вы едете этим поездом, потому что еду я?

— Я еду до Инзы, с пересадкой в Сызрани. Но я вас искал повсюду. Обегал все закоулки вокзала. Я нашел листок, принадлежит он вам или нет?

Она посмотрела... — Ну, конечно, мой. Выпал из книги. И отыскивали меня повсюду, что бы дать эти стихи ? Она смотрела на него удивленно и ласково.

— Вы достойны награды. — Порылась в чемодане и достала плитку шоколада и печенье Жорж Борман, — Садитесь и ешьте. А вы вообще, что нибудь уже ели?

— Нет, не успел, еще.

— Так пойдемте-ка в ресторан, я тоже ничего не ела.

— Ну, зачем, — взмолился он, тут так хорошо...

Вагон ресторан был переполнен и к ним присел морской врач, шутник, остроумный, уже немолодой... Своими шутками он всех заставлял хохотать. Даже за соседними столиками слушали и хохотали от души. Дана умело направляла словно подсовывая темы. Незаметно летело время. Они изумились, когда лакей стал накрывать к завтраку. Оба мужчины обратились к Дане.

— А что будем есть ?

— Будем есть солянку по московски, рябчики в сметане, масседуан, — безаппеляционно решила Дана. Доктор посмотрел на нее с восхищением.

— Ах, как хорошо! Мне кажется, первый раз в моей жизни кто-то распорядился моей судьбой...

Все расхохотались. Виктор Петрович с восторгом смотрел на доктора. — Сколько в нем жизни, смелости, задора, а ведь он много старше меня.

Решили встретиться, обменялись адресами...

Дана вошла в купэ и как-то непохоже на нее, стала разсеяна. Иногда складка на лбу резко выступала. Он заметил, смутился.

— Может быть уйти, вы устали?

— Нет, я думаю.

— Скажите, если можно, куда вы едете и зачем?

— Я еду к Товарищу Прокурора. К человеку, который делает блестящую карьеру своим талантом и умом.

— Это ваш жених? — быстро спросил он, и смутился.

— Пока нет.

Замолчали.

— Почему вы к нему едете?

— Я еду защищать женщину, убившую своего мужа.

— Вы адвокат?

— Нет. Просто мне жаль ее. Мне многое жалко на свете, — подумав, сказала она. Видите ли, ей грозит, по меньшей мере 10-15 лет каторги. Товарищу Прокурора предстоит сказать блестящую обвинительную речь и этим он сделает карьеру. Защитник должен защищать женщину и разрушать эту блестящую речь. Но Товарищ Прокурора талантлив. Вот я и еду.

— Но как же вы хотите защищать ее, ведь она убийца?

— Ах, что вы понимаете, — отозвалась резко Дана, — слушайте. Мы с мужем приехали в город. Сразу нашли прекрасную квартиру. Образовался круг знакомых, а переехать из гостинницы на квартиру, — не-

возможно. Не могу найти подходящую прислугу. Все какие-то недотепы, что-то баранье в глазах и чувствую, что будет наказание с ними. И вот однажды приходит — лет сорока, красивая, глаза, как вишни, темные, брови суровые, а рот поджат, как у монахини. Скорбно. На все вопросы ответила толково видно, что дело свое знает прекрасно. — Как вас зовут? — „ Соломея ”. Что? Я поражена. „ Соломея? ” Хорошо, вы останетесь у меня. Дайте ваш паспорт. — „ Да у меня, барыня, есть изъян, — я каторжанка ”... — Соломея. Каторжанка. Час от часу не легче. — За что? — „ Мужа убила ”. — Как это вышло? — „ Молодая была, красивая, а он блудяга. То там, то тут рассыпается биссером перед каждой юбкой. Работаем оба, а гуляет он один. Затаила злобу. Думаю, уйду, а люблю его, уйти не могу. Он, что ни ночь пропадает, нарядится и пойдет чертить. Вернется часов в пять утра. Ну, вот, однажды колола я дрова. Чуть светало еще. И вдруг явился и стал он бахвалиться и надо мной издеваться, пьяный, сразу видно откуда пришел. Вступило мне в голову и хватила его топором. Обухом... убить не хотела... Да попало видно в такую точку. что ли... наповал ”... Мы обе помолчали. „ Двенадцать лет присудили к каторге... Возьмете? или побоитесь каторжанки ?.. ” Я подумала. — Ну куда она пойдет, кто возьмет ее? Была красавица, вся жизнь изломана. — Оставайтесь, Соломея... И поверила ей до конца. Муж мой иногда ночами уезжал и я оставалась с ней одна. Знакомые удивлялись, волновались, как я могла взять каторжанку. И как муж уедет, так звонят по ночам, жива ли я... И к удивлению, я была не только жива, но у меня в течении трех лет была верная прислуга... Но вот я получила письмо от, — она на мгновение запнулась,... — от моего друга. Он пишет, — представляется блестящий случай сказать громовую речь в суде по делу убийства мужа женой. И я еду к Товарищу Прокурора, что бы доказать, что часто мужчина и женщина смотрят разно на вещи.

— Вы уверены, что человек, который может сделать себе карьеру блестящей речью, откажется от победы, послушает вас?

— Не знаю.

Поезд прогремел по безконечному железному Сызранскому мосту.

— Ну, прощайте, мой милый спутник, не бойтесь луны, — и она крепко пожала ему руку...

Около медленно двигающегося поезда, по платформе, рядом с голубым вагоном, шел высокий блондин, с близорукими глазами, с мягкой радостной улыбкой. В пра-

вой руке он держал фуражку, а левой сжимал руку Даны, протянутую ему через открытое окно вагона.

Виктор Петрович вышел за ними и медленно побрел к вокзалу. Теперь лицо его не выражало такой безнадежности с какой он отыскивал Дану по всем закоулкам вокзала, Москвы. Адреса, которыми они обменялись в вагон-ресторане с доктором и Даной, лежали у него в кармане и ему верилось в новую встречу с Даной.

# МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ СИНЕОКОВОЙ

Серафима Семеновна решилась на самый последний шаг. Наняла на Бронной большую квартиру, почти даром, в расхлябанном, когда то прежде нарядном, доме, подчистила и устроила меблированные комнаты.

**Меблированные Комнаты Снneоковой.**

— В жизни никогда не думала эдаким делом заниматься, — говорила она Настеньке Любимовой ,своей закадычной подруге. — Хлопотно, никакой радости. Суматошно. Но сама посуди, — Катерине двадцать третий пошел, Варваре, — двадцать шестой и хоть бы кто посватал. И девченки не плохие. Сдобные. Приветливые. А вот женихов нет и нет! А вот меблированные комнаты, — расчет верный. Студенты. На глазах хозяйские дочки, тары-бары, растабары... Смотришь вечером засидится. То да се. В карты Варя погадает, подскажет, мол, девушка о нем крепко думает, или скучает и любит. Ну и подобное. Ну да уж что бы хозяйские дочки на выданьи, да в девках остались, — это не слыхано!...

Комнаты хоть куда. В каждой картина на стене. Нечто вроде портретов. Барышня в тюлевом розовом платье и кавалер в узких брюках с кружевным пластроном целует ручку, а на ветке необычайно крупных размеров соловей выставил кадык, поет, заливается... Или. Психея в весьма прозрачных одеждах, мило надула прелестные губки, сдувает пылинку с лепестка, а юноша, плененный, нежно смотрит на прелестные губки.

Вообще по картинкам этим можно было очень просто научиться, как любить.

Комнаты открыты и начинают заселяться. Лохматый, без фуражки, студент занял комнату № 1. Сговорились быстро, — 50 копеек с утренним самоваром. Чай с бубликами. Самовар подавала Варя, с синим бантом

в косе. Варвара вошла с подносом. Увидев девушку студент смутился. Он старался пригладить лохматую голову и придать благопристойный вид. Вихры упирались, вылезая из под ладони, словно нарочно топорщились ввысь. Варвара, как старшая, была пущена первой в атаку. Словно не замечая смущения студента, она ловко сняла с подноса бублики, стакан, блюдечко, чайную ложку, чайник и поправила салфеточку. Улыбаясь спросила:

— В накладку или прикуску? и не ожидая ответа в последний раз под самым носом студента провела полной рукой с сахарницей, из которой вынув два куска сахару, опустила в стакан, сразу решив судьбу студента, — в накладку.

Варвара ушла, а в глазах студента все еще мелькала полная белая рука. Варвара заботливо приносила чистое полотенце, меняла наволочку, с неимоверной быстротой из белоснежной превращавшуюся в буросерую. Обратив внимание на это обстоятельство, студент понял, — надо мыть вихры. И вообще следить за наружностью.

— И чего ты привязалась к лохматому, — не раз говорила мать, — вон, Катерина, инженера нашла. Через год кончает, вот она его и обрабатывает. Учит ее на память стихи Некрасова читать. Вот это жених! Либо на доктора, тоже не плохо... Да вот беда, Шурка повадилась чуть ли не каждый день приходить. Никогда прежде не носило ее к нам и глаз не показывала. Разве в Первопрестольный праздник...

Лохматый студент, по имени Виссарион Николаевич, был славный парень, филолог. Помещичьий отпрыск, сначала глубоко погруженный в науку, как то попал в поле зрения политиканствующих юношей и затянулся в разные группы и партии, не смыслив в них ни уха ни рыла. А нравилось ему, что вечно кто то топчется, что то болтают, м. б. дельное, а может быть и нет. Во всяком случае несколько девиц, из которых каждой казалось, что именно она имеет на него влияние и два три политиканствующих юноши весьма обрадовались, что Виссарион устроился уютно и стали частенько заходить к нему. Особенно им нравилось тепло, уют и всегда на столе было что нибудь, что можно было похрустеть. А „ что похрустеть " всегда было приготовлено заботливыми руками Варвары.

Однажды „ товарищ " Густя обратила внимание, что Виссарион „ разлагается " и объявила на сходке:

— Пока мы тут занимаемся глупостями, — завопила она, — наш лучший товарищ, черноземная сила, разлагается.

Решено было возможно скорее спасти его от разложения. Но пока товарищи собирались, Густя решила принять меры сама. Она явилась к Виссариону и даже не прикрыв дверей, засыпала его обвинениями.

— Виссарион, опомнись, что делается с тобой? Ты разлагаешься! Посмотри на свою прическу, на свой белый воротник, на свои печенья, что ты грызешь безпрестано. Как ты живешь? Где прежний Виссарион?

Последние слова она договорила уже в прихожей, куда сильная рука Варвары, взяв ее за шиворот, увлекла, наградив хорошим пинком, захлопнув сердито за нею дверь. Виссарион испугался и не знал что делать. То ли наступление на его свободу Густи, то ли защита Варвары. Он инстинктом понял, что настоящий друг Варвара и с ней надежней.

Уж очень сумбурно показались ему крикливые безсмысленные обвинения Густи. Ведь печенье и бутерброды с колбасой, принесенные Варварой, поедали эти самые обвинители.

— А Варвара молодец, как отделала, — и внутренне он ликовал.

Вечером ему печенье никто не принес. И когда он вернулся домой, пустая тарелка на комоде заставила грустно вздохнуть.

Не пришла Варвара и утром, а чай принесла Катерина. Катерина уже считалась оффициальной невестой инженера и на осенние горки назначена была свадьба, после экзаменов. Жених и невеста уже частенько ходили вместе в театр, на вечеринки и даже один раз были на балу инженеров, где жених был распорядителем с пышной розеткой, чем не мало гордилась Катерина.

Однажды Серафима Семеновна, иногда заходящая в комнаты квартирантов проверить все ли в порядке, конечно особую заботу давая двум женихам, зашла в комнату инженера и — ах!.. увидела Шурку на коленях инженера. Тужурка инженера была растегнута и крестик на цепочке Шурка держала в руках.

— Ах ты мне! Батюшки Светопредставление! Да какое ты право имеешь шататься по чужим комнатам? Ты к кому пришла? Как милая притворяешься, бегаешь к нам, Катерину сбиваешь, что Володя хорошим мужем не будет. Врешь ты на него все, а сама ему на шею вешаешься! Что б духу твоего не было.

— Тетя, милая, голубушка! поверьте! Только крестик хотела посмотреть, честное слово. Серебряный крестик и серебряная цепочка! Ну разве не редкость теперь, человек такой верующий, и чтоб в открытую гордо носил крестик.

И она ластилась к тетке и обнимала ее.

— Ну поверьте, разве я какая нибудь, что б на шею вешаться чужому жениху. Ведь мы же родня. Ведь не сегодня завтра мы будем родня, — двоюродный брат!

У тетки отлегло от сердца. Шурка тормошила и целовала ее в обе щеки.

— Тетя, умоляю, ничего не говорите Кате. Ведь вы так скажете, что она подумает Бог знает что, и разрушите их счастье из за ничего...

Тетка ничего Кате не сказала и висевшее на волоске счастье Кати и Владимира осталось непоколебленным.

Все семь комнат были заняты. В номере четвертом жил какой то необыкновенный человек. Всегда он был погружен в какие то математические расчеты. Листы бумаги были испещрены цифрами. Стол был загружен таблицами, выкладками, расчетами. И когда Серафима приносила ему утром чай, он редко даже поднимал голову от этих мрачных таблиц. Но когда она уходила, он с удовольствием съедал все принесенное ею, вкусно причмокивая. Серафима Семеновна не скупилась и все квартиранты ее получали сверх меры. Главная забота ее была, что бы всем было хорошо, не искать новых квартирантов и жилось бы спокойно.

Этот мрачный квартирант иногда пугал ее своим безмолвием, будто не замечая, что она делает. — Хоть бы сказал что нибудь, поблагодарил, пожаловался, потребовал что нибудь, а то, — кто его знает, ладно ли ему все?

И вдруг однажды объявил:

— Серафима Семеновна, я от вас уезжаю. — У Серафимы Семеновны упало сердце. — Мне дают казенную квартиру и повышение по службе. Не скрою, мне очень тяжко съезжать от вас. Привык я к вашим заботам. С утра вы хлопочите, всем хорошо у вас, а о вас самой никто не думает.

Голос его был глуховатый, но доходил до самой глубины сердца Серафимы Семеновны и слезы подступили к горлу. Как этот мрачный человек так понял все ее заботы и попечения. А тот все продолжал.

— Не откажите мне в просьбе. Если я вам не очень противен, давайте обвенчаемся и поедем со мной к месту моего служения.

— Да как же это выходит? Ни вы меня, ни я вас не знаю. Ой, даже ноги отнялись, — и она безпомощно опустилась на край стула. — Да как же мои комнаты, дочки?

Он высказал, что мог и как умел, и отойдя к окну

смотрел на улицу, скромно давая ей пережить волнующие чувства.

Серафима Семеновна была дама решительная, прикинув, что лет они одинаковых и будет она жить барыней, она согласилась. А дочки, как хотят, пусть устраиваются сами. — Я еще молода и сама хочу жить! — так она и объявила своим дочкам за обедом.

После отъезда Серафимы Семеновны с мужем, барышни решили тоже отдохнуть и закрыли на лето меблированные комнаты.

Осенью меблированные комнаты Синеоковой были открыты, появились новые квартиранты и жизнь пошла в том же порядке, как и при Серафиме Семеновне.

Виссариона забрала полиция. В один прекрасный день, Густя прибежала к Варе.

— Виссарион попал в ужасную историю. Спасите! Выслушав Густю, Варвара сдвинула суровые брови, набросила косынку и вышла из дому. Вернулась она поздно с каким то тяжелым тюком и долго что то делала в кухне... Вечером ели жаренного поросенка. Соседка спросила:

— Что у вас так паленным пахнет?

— А я поросенка палила, приходите, угощу, — и вечером все ели жаренного поросенка с гречневой кашей.

— Ну и мастерица вы, — восхищались соседи. Через недели две откуда то появился Виссарион, сильно исхудавший. Тут же вскоре случилась и свадьба Виссариона и Варвары. А и крепко держался Виссарион с тех пор белых рук Варвары! Вскорости они уехали в Крым на работу и Екатерина осталась одна владеть меблированными комнатами Синеоковой. В доме ничего не изменилось. Как и прежде все комнаты были заняты.

Несмотря на то, что секрет обозрения Шуркой серебряного крестика не выдан был ни Шуркой ни матерью, Катерина почувствовала какую то фальш, словно что то оборвалось. И когда она оставалась с Владимиром, была пустота, которую она заполнить не умела. Не понимая, стала приглядываться.

Да ведь Владимир совсем другой, — жесты, улыбка, радость в глазах, — все, все не то... А что? — Спросить? Не позволяет гордость. А почему Шурка носится чуть ли не каждый день? Пока она занята с квартирантами, Шурка сидит как будто бы и в комнате Катерины с книжкой. А почему у Шурки иногда щеки красные, одна краснее другой, словно нащипанные?.. И сердце Катерины почуяло ложь — Оба лгут, — и Шурка и Владимир, оба прячутся.

И однажды, когда Шурка пришла, как обычно с веселыми восклицаниями и приветствием, Катерина молча показала на собранные вещи Владимира в двух плетенных чемоданах, портфель и спокойно сказала:

— Уноси это к вам.

— Куда ? раскрыла широко глаза Шурка.

— Ну, если хочешь яснее, — к тебе, или туда где вы встречаетесь, — она даже имени Владимира не произнесла.

Взгляд Катерины был так суров и холоден, что Шурке стало даже страшно оправдываться и забрав багаж, она вышла...

Катерине ничего не хотелось. Друзья предлагали поехать по Волге, звали в Троице-Сергиевскую Лавру, в Сокольники. Она прикидывала, что и как там будет, что изменит в ее мыслях и сказала себе, — ничего не изменит, пустота останется таже, так лучше уж дома на привычном деле забудешся.

Наезжала счастливая довольная мать. Гостила недельку, другую, возила Катерину в театр Корша и особенно полюбила Катерина пьесы, где выступал Борисов со своей гитарой. Он пел:

„Я помню день. Ах это было счастье.
С тобою в первый раз мы встретились вдвоем.
То было осенью в холодный день ненастья,
Но мы весны уж лучшей не найдем...

Я помню день, ах этот день весенний,
С тобою разставались навсегда,
А на душе холодный гнет осенний, —
Не знать весны б мне этой никогда.

Прошли года. Мы встретились с тобою.
Я сердцем изветшал, ты холодна как лед,
И на твоих и на моих сединах
Никто любви уж больше не найдет...

И ей захотелось вдруг заплакать, а до тех пор она не позволяла говорить сердцу о себе.

Забежала Шурка и плакалась, что все у них врозь. Владимир считает себя и Шурку преступниками, испортившими Катерине жизнь из за ничего.

— А ей Богу, моя жизнь хуже твоей. Как затянет волынку самобичевания и прихлестывая меня в придачу, — я слушаю, слушаю, — крикну — Ханжа! Насильно человека ничего делать не заставишь, — и убегу в оперетку. Там оттаю и опять иду домой. Но устала я, — уеду к Варваре.

— Варвара тебя прогонит, не езди. Она не любит таких, как ты, ты ветер.

А Варвара жила в Алупке, в Крыму, припеваючи. Ждала ребенка. Звала Катерину. Ну что же? Меблированные комнаты Синеоковой были всегда заняты и поль-

зовались большим уважением, — тихо заботливо вела Катерина их. Закрыть или оставить Шурку? У нея с Владимиром совсем плохо. Шурка переехала от него в Лоскутную гостинницу на Тверской. Оставлю Шурку. Авось ветер пройдет, поумнеет. И уехала в Крым.

Остановилась отдохнуть в Ялте, в гостиннице „Россия", — пленила ее веранда. И в звездные ночи было так хорошо, так ласково под бархатным небом, что сил уехать, оторваться от этих ночей — не было. — Отдохни, не спеши, — говорила она себе. Ведь ты без отдыха работала... И так сидела она до утра. И когда на синем небе потухали звезды шла к себе и засыпала. И часто во сне грустно упрекала Владимира, видя его как живого, и чувствовала, — позови он — придет. И хотела и не хотела этого.

Это все колдовские ночи. Не хочу, — не поддамся, не уступлю. Блажь, упрекала себя. И все же разстаться с Ялтой было жаль.

Концерт Раи Раисовой. Цыганские романсы. В городском саду, концертный зал небольшой, но уютный. Билет она достала в пятом ряду, недалеко от прохода. Только успела сесть, как свет погас. Вышла артистка не очень молодая. Гитарист чудесно сыграл вступление и романс за романсом пела Раисова. И когда она спела романс „все б тебя слушал...

„Все б тебя слушал, глядя в твои очи
И с наслажденьем забыл бы весь мир.
Но тебя нет и темнее день ночи
Все там блаженство, где ты мой кумир.

Чем объяснить эту боль и страданье,
Чем объяснить эти муки мои.
Горечь разлуки, тоску ожиданья,
Вот, что наделали песни твои.

Я б отказался совсем от свободы
С тем, чтобы быть в дорогом мне плену.
Снес бы безропотно муки невзгоды,
С тем, чтоб вернуть и любовь и весну."

Катерина все слова романса прикидывала себе.

Перерыв был короткий. Мало кто выходил и беседовали на местах. Соседи Катерины не выходили и не вставали и она упиралась глазами в спину дамы в сером платье. Публика стала входить, усаживаться, и вдруг Катерина увидела в первом ряду сидит Владимир. Она жадно смотрела на него.

— Ну да, это он, форма гражданского инженера. Как он возмужал за эти два года, раздался в плечах. Но как он попал сюда?.. Шурка сказала! Глупо! Если хотел подразнить меня. Но откуда знал, что я пойду слушать цыганское пение?.. Нет, нет! Вздор!

В голове стоял туман. Тысячи мыслей скачут, перегоняют. Встать, подойти? уйти? Но певица вышла на сцену и запела. Катерина ловила движения сидящих впереди нее, поворачивая голову, что бы видеть его. — Скорее бы конец. Она ничего не слышала, что поет артистка. И вдруг большой букет был брошен артистке, на сцену, — как будто бы бросил Владимир. Не может быть! Но артистка оторвала цветок от букета, бросила Владимиру, он поймал.

— Как он смел, как мог дразнить, смеяться надо мной!!

Аплодируя, вызывая, публика медленно двигалась к выходу. Высокая фигура Владимира была видна Катерине. Ей было не выбиться из густой, медленно идущей толпы. И вдруг Владимир исчез. Задыхаясь от волнения и усилий, наконец она вырвалась из театра. Она пошла кругом и попала к артистическому выходу. Было темно. От качающихся на проволоке редких фонарей, метались тени. И совершенно неожиданно она наткнулась, — в фаэтоне сидела артистка, а Владимир был готов занести ногу на подножку экипажа. Громкая пощечина прорезала тишину. Владимир увидел красивое гневное лицо, не растерялся, притянул за плечи и поцеловал в губы. В руках его тело женщины обмякло.

— Да она в обмороке, — крикнула артистка. — Кто такая? В чем дело? Вы ее знаете?

— В первый раз вижу. Едем ко мне. Ничего серьезного.

Одеколон, туалетный уксус, глоток коньяку и Катерина пришла в себя. Увидев артистку и чужого человека, смутилась и первая мысль была бежать. Но видно, от судьбы не уйдешь. Не ушла и Катерина. Должно быть крепкая рука была у нее, что словно припаяла Матвея Васильевича к Кате.

А артистка была приглашена посаженной матерью.

А меблированные комнаты Синеоковой остались в наследство Шурке. К ним я еще когда нибудь возвращусь.

# ЗА КУЛИСАМИ

## Повесть

Граня любила сцену, любила аплодисменты, любила репетиции, — пожалуй больше всего репетиции..

Она была замужем, имела двух-летнего карапуза. Карапуз был замечательный, живой, энергичный, самостоя-

тельный, настойчивый и толковый. Граня была довольна судьбой, — существо жизнерадостное, без глубин, без разсуждений. Мораль, — ну, все, что полагалось в приличной буржуазной семье она впитала и жила этим по привычке. Каталась зимой на коньках до самозабвения, вальсировала с Адей Чириковым, польку-мазурку танцевала с Леночкой Половцевой, польку — с Жоржем Фурнье. Для каждого танца, свой партнер, тот, который на коньках танцует лучше всех.

Одинадцать женихов ожидали ее согласия на брак. Она терпеть не могла слова „ брак ”, — „ я выйду замуж, а не в брак ”, — говорила она смеясь. Наоборот, замужество должно дать блеск, радость, превратить куколку в бабочку.

Одинадцать претендентов, — это успех ! Головокружительный успех ! Большой выбор, но... вышла за двенадцатого. Те одинадцать ей нравились, каждый чем нибудь своим, особенным, а двенадцатый не только не нравился, а просто, откровенно говоря, она его побаивалась и настолько этим он был ей неприятен, что увидя его бобровую шинель на крутом берегу, когда он начинал спускаться на каток по крутой лестнице упористыми тяжелыми шагами, — она уже представляла себе, как он войдет в раздевальню, сбросит надменно шинель, плотно сядет на скамью и мерно начнет прилаживать коньки к сапогам... И ровно в меру, наклонив голову, пригласит ее и поплывут они, она не отнимая ног от льда, а он слегка лягая левой ногой...

Если она бывала одна, то приходилось смириться и кататься с ним. Но если в это время она была с кем нибудь, она с ужасом, завидя его шинель, торопливо говорила :

— Бежим, он идет ! — и они бросались на коньках к крутому противоположному берегу, без лестницы взбирались, цепляясь за снег руками в теплых варежках, и выбравшись на берег, тяжело дыша, на коньках неслись к ее дому. Там партнер покидал ее и она спасалась, чаще всего на кухню.

А иногда, даже стыдно сказать, не входя в кухню, в сенях, сбрасывала коньки и... садилась под корыто. Оно стояло огромное, опрокинутое, прижатое косо к стене. Сени были теплые. Временами из кухни, когда выходила за чем нибудь прислуга, так хорошо пахло пирогами и чем то праздничным, жареным, что она не выдерживала и забиралась в кухню, на русскую печь, где лежал овчинный тулуп, умоляя Анисью, не говорить маме, что она вернулась, и оставалась на печке, пока не уходил двенадцатый.

А он приходил непременно, если не заставал ее на катке. — Значит дома, — решал он и шел. И угощали его пирогами, обедами, завтраками, как и всех, кто приходил в гости. И он сидел и ждал, может быть она придет. Когда видел, что хозяева уже устали — уходил. Она голодная вылезала из под корыта или слезала с печки.

Казалось бы невозможно, но „ терпение и труд все перетрут ”, говорит пословица. И вот его настойчивость и упорство перетерли все, — он стал женихом номер двенадцатый.

И мама, и родные, и сама Граня как то привыкли к этой мысли... А когда однажды на балу Граня протанцевала весь вечер с приезжим из Варшавы ротмистром Трилевым, то провожая дам домой (это считалось уже привилегией № 12-го) он, взбешенный на Трилева, придрался к какому-то прохожему и, взяв его за „ грудки ”, выбил им ворота в доме Неймана... Теперь отказать ему в его настойчивой просьбе — принять его руку и сердце — стало почти невозможным. Доказательство налицо, — он ее „ безумно ” любит и ревнует...

Свадьба состоялась веселая, шумная. Номер двенадцатый оказался чудесным мужем. Жизнь закрутила. Граня ни в чем не видела отказа. Родился ребенок. Мама приходила и возилась с ним, пока Граня с мужем выезжала на балы, в театры.

Однажды вздумали устроить любительский спектакль.

— Вы играли раньше ? — спросил Граню капитан Леммерман, режиссер.

— Да, „ Бедовую бабушку ”, когда мне было десять лет.

— Чудесно, попробуем.

Он был строг, педант, сухой и Граня его побаивалась. Кто любит сцену, тот знает все прелести любительских спектаклей. Они сближают, дают общий интерес. Волнения при выборе пьес, считки. Намечаются симпатии, антипатии. Режиссер был великолепный и работал над труппой любителей изумительно. Давал верный жест, модуляцию голоса, всех подтягивал, требовал, — учи роли на зубок. Словом был душа театра. И вдруг объявил :

— Вы будете играть в пьесе „ Под солнцем Юга ”.

Граня испугалась. Роль большая, но интересная: она — молодая девушка, отец старый генерал, обожающий кухню, готовит сам замечательные замысловатые блюда. Брат, балбес, целый день шатается по саду, по дому и поет „ Торреадор спеши скорее в бой ”.

Граня долго не сдавалась на все уговоры, — страшно. Но когда увидела чудесные декорации дома, сада с ку-

стами роз, азалий, тенистые аллеи, дорожки посыпанные желтым песком, сдалась на убеждения.

Во время репетиций все шло прекрасно. Режиссер не находил похвал достойно наградить способную ученицу... но вот беда. Накануне спектакля Граня получила телеграмму, „ ты или мама приезжайте. Оля заболела ". Поехала мама, хотя Граня хотела ехать сама к сестре, и тогда спектакль пришлось бы отменить. Но мама настояла, уверяя, что она там будет гораздо полезнее. Маме очень не хотелось разрушать так прекрасно слаженный спектакль и лишать удовольствия молодежь, отдавшую столько сил на декорации, репетиции, и публику, ждущую с нетерпением спектакля. Все предвкушали, смаковали, предрешали и вдруг, „ отложено ! "

Но что делать с Котькой? А на что Наталья Константиновна ? Генеральша Русецкая, милая, добрая, славная, готовая всем идти на помощь в минуты невзгод, сомнений, недохваток и прочих жизненных трений. Маленькая, сухенькая, суетливая, хорошая музыкантша, она с восторгом давала детворе безплатно уроки музыки, до самозабвения любила детей...

Радостно согласилась он возиться с Котькой, а уснет он, оставит его на няньку, а сама успеет и на спектакль... так думала она.

Первое действие, Занавес взвился... Залитой солнцем сад. Зеленая лужайка, куртины ярких цветов... На дорожке, в тени под деревом, в кресле-качалке сидит Граня, в светлом нарядном платье. Тихонько носком туфельки отталкиваясь, Граня тихо покачивается. Входит брат, напевает : „ Торреадор спеши скорее в бой, Тор-р-р-реадор, Тор-р-р-реадор. "

Граня зажимает уши и говорит, „ Да замолчи ты, наконец, иди к реке и пой там ".

Вдруг слышит голос Котьки :

— Мама, я хочу к тебе в сад, возьми меня, мама. И Котька, работая руками и ногами, лезет на суфлерскую будку, откуда уже выглядывает оторопелая голова суфлера, испуганного грохотом над головой...

Наталья Константиновна напрасно пыталась уложить спать разыгравшегося шалуна. Сон ушел. Уже 8 и 9 часов, а у Котьки сна ни в одном глазу.

Спектакли редки. Жертва просидеть дома не по силами : И Наталья Константиновна решила, — возьму Котьку. Посажу на колени, заглядится не сцену, — место в первом ряду, — и будет сидеть смирно. Так вероятно бы и случилось, если бы не голос мамы и цветущий сад не привлекли его внимание. Он сполз незаметно с колен, увлеченной спектаклем Натальи Константиновны, и живо

бросился к суфлерской будке. Наталья Константиновна тщетно старалась стащить его, разбушевавшийся Котька совсем не желал покидать позицию. Наконец, молоденькой барышне удалось уговорить буяна обещанием отвести к маме в сад через другую дверь.

Граня сгорая от стыда, чуть не плакала. А Коко, брат, чтобы подбодрить Граню, орал неистово „Торреадор, Торреадор". Вышел на сцену и отец генерал в белом поварском колпаке и поварской куртке, энергично сбивая веничком сливки.

Словом происшествие было сглажено и спектакль прошел блестяще.

Спектакли стали ставиться все чаще и чаще и труппа вызывала восхищение, одобрение, поощрение и все нетерпеливо ждали анонсов.

Труппа пополнялась новыми силами, подчас недюжиными. Все находили в Гране поразительную сценичность. Ей было 22 года, красивая, стройная, безмятежная, не глупая, острая на слова. Таланты открывались самым неожиданным образом у знакомых. Прибыл Иван Петрович, назовем „жен-премье". Нос немного длинный, — не беда, чуть чуть загогуленой, — эка невидаль, — а грим на что? Из такой загогулины проще всего сделать нос римского патриция.

Осмелели, — поставили „В погоне за прекрасной Еленой". Репертуар Неметти Линской. Граня в Петербурге видела эту пьесу, помнила и взялась показать многие тонкости...

В это время к жене городского головы приехала племянница, консерваторка, по классу пения. Ей предложили главную роль, которую исполняла Неметти Линская в Петербурге. Племянница отказалась, гордо заявив, что она настоящая певица и с удовольствием пропоет что нибудь из оперы. И режиссер, несмотря на все протесты перепуганной на смерть Грани, поручил эту роль ей.

— Возьму, решила Граня, чтобы не сорвать спектакля. Пусть аккомпанирует консерваторке тетка, а мне будет аккомпанировать жена помещика.

Смысл пьесы: Антрепренер приезжает в город и ищет артистку, которая может играть роли субреток и опереточную примадонну, чтобы заменить сбежавшую от него артистку, игравшую роль „Прекрасной Елены". Он дал объявление в газету и терпеливо ждет. И вот к нему пришел грум, которого он раньше никогда не видел в гостиннице и объявляет, что там его спрашивает артистка.

— Приводи, — сказал антрепренер. Пришла барышня

(консерваторка), бойкая и великолепно пропела арию „ Лакмэ ”, „ Светлячки ”.

— Нет, голубушка, это мне не подходит. Это уж вы в оперный театр. Мне нужна артистка с огоньком, и он сложив три пальца приложил к губам и причмокнул. — Консерваторка пугливо посмотрела на него и не прощаясь быстро вышла. Входит опять грум.

— Там какая-то барышня к вам просится. — Грум весело улыбается, на нем занятная шапочка на бекрень с лакированным ремешком под подбородком.

— Ты чего, братец, смеешся ? — спрашивает антрепенер.

— Да барышня там — фыркает — очень занятная, ну вот сейчас придет. — В прихожей слышна возня. Два голоса спорят и появляется девочка, высокая. худенькая, с серсо. Волосы завязаны розовой лентой с пышным бантом.

— Вам нужна артистка, на опереточные роли ?

— А вам сколько лет ?

— 14-ть, 15-й, скоро 16, — не переводя дыхание, выпалила она. — А вам не все равно сколько мне лет? Я прекрасно сыграю Прекрасную Елену.

— Ну, милая, если бы я знал вашу мамашу, я рекомендовал бы ей поставить вас в угол.

Барышня стукнула серсо палочкой, серсо покатилось и барышня смеясь убежала.

Долгое время никто не появляется. Он звонил грума, открывал дверь, кричал, но грума словно водой смыло. Нет грума. Пришла барышня, очень хорошо, но скромно одетая, в черном костюме, в черной шляпке, руки в белых перчатках, сложенные по институтски.

— Это еще зачем, — подумал антрепренер.

— Я пришла по объявлению. Вы ищете каскадную певицу. Роль „ Прекрасной Елены ” я возьму с большим удовольствием.

Он внимательно осмотрел ее с головы до ног и несмешливо сказал :

— Милая, у меня не монастырь. У меня о-пе-рет-ка ! — и он внушительно поднял палец вверх. Барышня сказала „ извините ”, и ушла.

Антрепренер метался по комнате, проклиная паршивый городишка, как вдруг раздался стук в двери и вошла стройная высокая женщина, в огромной черной шляпе, с хлыстиком в руке, в узком черном кружевном платье, обтягивающем фигуру, как футляр, с огромным пышным треном, перекинутым на руку.

Он восхищен. Именно это он и искал. С ней пришла аккомпаниаторша, и села за рояль, заиграв „ Ритурнель ” французской шансонетки.

„ Же ве д'епузе ле тамбур мажор де трантдезьеме, эн жоли гар, эн бо гарсон ду ком ля креме... ”

С тонким хлыстиком, режущим воздух в нужный момент, с треном, как букет, перекинутым через руку, в огромной черной шляпе, с мерцающими подведенными синью глазами и яркой пунцовой улыбкой она была замечательна.

Восторженное „ Ах ! ” прозвучало по зале и замерло. А Граня, (пропадать, так с музыкой), от кулис до авансцены мелким дробным шагом прошла до суфлерской будки и остановилась.

— „ Э вуаля, ля бель амур, ле врэ амур, э пендан ля нюи э ле жур, л'амур, л'амур, л'амур... ”

Публика ошалела. „ Би-и-и-с, б-и-и-и-с ! ”

Проходя мимо восхищенного антрепренера, Граня бросила ему, — вы плохой антрепренер. Ведь грум, девочка с серсо, скромная девица, — это все было я ”.

Войдя в уборную, Граня почти без чувств упала на руки мужа. Тот в восхищении, смотрит на нее жадными влюбленными глазами, каких она у него не видела никогда, сыплет комплименты. А она так боялась именно мужа. А вдруг такое выступление приведет его в бешенство. И она вспомнила выбитые ворота в доме Неймана. Нет, он горд. Счастлив. Она пристально посмотрела ему в глаза.

А ведь он неимоверно глуп, решила вдруг. И поверила этому. Для другой — это был крах, но Граня была не такова. Значит нужно осторожно ходить по краю пропасти и знать меру. Помощи не жди ни откуда.

Все в восхищении. Разговоры, похвалы. Нос загогулиной, игравший антрепенера, занесся, что спектакль прошел так блестяще.

В труппу вошел молодой офицер. Тетка его была артисткой Александринского Императорского Театра. Он сыграл замечательно водевиль, где он изображал писаря Фруктова с гитарой, сидящего на заборе. Спектакль прошел под неумолчный хохот.

„ Итак поет здесь писарь Фруктов темной ночью на заборе... ” жалостно чувствительно выводил он. Комические роли были его жанр...

Проездом из глухого городка, в городе, где жила Граня, остановилась дама с дочкой лет 17-18, смазливая мордочка, карие вишеньками круглые глаза, маленькая ростом, с кривенькими ножками и густыми каштановыми волосами. Волосы были изумительны. Улыбка, — два пе-

редних зуба белые, длинные находили горбинкой друг на друга и делали улыбку неподражаемо красивой.

Они старались осмотреть все интересное и им все казалось чудесами после скучной заброшенной помещичьей усадьбы, где Женя прожила всю свою жизнь.

В городском саду играла музыка. Кругом Ротонды скамейки и стулья были заняты публикой и когда пришла запоздавшая Граня, то нашла местечко около двух незнакомых дам, которые любезно потеснились. Дамы эти и были мама с Женей. Они разговорились и Гране очень понравились и мама и Женя и она обрадовалась, когда узнала, что мама и Женя хотят задержаться на некоторое время в городе. Женя была полуграмотна и даже плохо писала и читала, а Граня... Граня читала ей Писемского, Лескова, Лермонтова, Пушкина, а Женя выучивала на память понравившиеся ей незнакомые слова, как перспектива, перпендикулярный, сверхестественный, призма, уникум и т. д. На что они были ей, — неизвестно, но репертуар ее „ ученных " слов обогащался. Любимое стихотворение ее было :

„ Когда будете, дети, студентами "... (Апухтин)

Над всей этой чупухой, заученной Женей, Граня не мало смеялась, но охотно учила. Пробыли они в этом городе недолго. Прощаясь, обещали писать друг другу. И Женя писала часто своими каракульками, описывая мельчайшие подробности, что любит мать, что говорит доктор. И вообще все подробности своей жизни, вплоть до горжетки и круглого голландского сыра, который она обожает. Но чувствовалось, что она чего то не договаривает. Женя писала, что она хорошо устроилась, но мама хворает. На Караванной квартира из 4-х комнат, столовая темная, — это ужасно ! Доктор у мамы каждый день, но болезни определить не может...

Откуда это ? Ведь они же нищие. Чтобы добраться до Петербурга из захолустья, продали весь скарб. И Граня дала им в долг 50 рублей на первое время. Теперь 50 рублей вернули с великолепной коробкой конфект. Потом письма, нацарапанные куриным почерком стали редки. Прошло больше двух лет. И вот последнее письмо. Просьба : „ Приезжай, решаю важный вопрос. У меня никого нет, кому верить, кроме тебя... "

Граня задумалась, но тон письма был жалкий и она решила поехать. а кстати навестить бабушку, жившую на даче в Ораниенбауме. Женя жила на той же квартире, на Караванной. Она родила сына от пожилого человека. который имеет жену и двух взрослых детей. Сам он хочет бросить свой пост и жениться на Жене, разведясь с женой. „ Советуй, как быть. "

Граня отрезала без размышлений.

— Этого делать не смей. Сыну его придется выйти из гвардейского полка. Твой муж потеряет свой пост... Что выиграешь ты? Ребенок, старый муж, скандал, обида жены, прожившей всю молодость с любимым человеком, матери двух детей от него. Люди большого общества. А дочь? За что все должны страдать из-за минутной слабости отца, за его грехопадение? Год, два и он возненавидит тебя. Его прихоть пройдет. И что дашь ты ему взамен того общества, в которое он врос, состарился и которое отвернется от него. Удовольствуешся-ли ты его любовью? Состояние ведь отберут по суду жене и детям. Что получишь ты? Капризного злого старика. — Так убеждала Граня, всеми силами спасая почтенное имя семьи и желая блага Жене. Вопрос решен, — тогда он на Алешу подписывает родовое имение, до смерти Алеши.

С этого момента Граня опять теряет Женю надолго из вида.

Однажды приехав на сезон в Петербург, Граня с мужем были в театре Буфф. Шла смешная вещица „ Морские купанья " (Флорет и Патапон ").

— Да ведь это Женя, воскликнула Граня, увидя на сцене, на морском пляже, кривоногую фигурку в более чем откровенном костюме. Женина улыбка осталась та же, также очаровательна. Итак Женя играет в фарсе. А старик? А Леня?

Прожив сезон в Петербурге, Граня с мужем собирались домой. У Дациара случайно встретились с Женей.

— Граня, зайди на минутку к нам, — умоляла Женя, — Мама будет так счастлива увидеть тебя. Я Алексея бросила, устала, надоел. Я люблю теперь Павлушку. Это офицер Н-ского полка. Нет! Нет! не смотри брезгливо, я не содержанка. И тогда, — это ты виновата, ты отговорила меня выйти замуж за Алексея, погубить его семью. Но я тебе благодарна. Ведь была бы не жизнь, а ад с этим старым человеком. Сейчас я свободна. На Алешу получаю столько, что всем хватает на жизнь. А Павла я люблю, действительно по-хорошему. Павлушка прелесть.

И Граня поехала к Жене с большим удовольствием, т.к мать Жени ей нравилась. Все ее суждения всегда отличались простотой житейской мудрости, добротой и огромной любовью к дочке и внуку. Славный мальчонок с льняными волосиками, синими глазками на славном, словно фарфоровом болезненном личике. Притащил незнакомой тете целый ворох игрушек и в первый же момент подарил ей любимую лошадь без хвоста.

Граня пробыла у них долго, до самого вечера, пила чай в темной столовой. Большая лампа на медных цепях мягко освещала комнату. На столе был только что начатый круг голландского сыра, несколько сортов варенья, бисквит и много всякой снеди. Это показывало, что Женя живет в большом довольстве. Довольна была и мать. Она так обрадовалась, обнимая Граню, что даже слезы потекли.

— Господи, какое это было счастливое время. Ничего то у нас не было. На последние грошики поехали из дому. Мечтала я, что буду работать, как у себя в городе. Да вот не довел Господь, захворала.

На распросы Грани, — чем больна, ответить точно не могли. Доктор видимо скрывает от нее. Но было видно, как страшно она изменилась за это время. И Граня испугалась, поняв, что мать Жени больна очень и что ее волнует незаконный ребенок и неустойчивое положение Жени...

И уйдя от них, вспоминая ковры, мягкий диван и прочие предметы дешевой роскоши Граня подумала. „Пусть живет, как живется. Ведь оставайся Женя в их захолустном городишке, вышла бы за нештатного чиновника или прикащика и была бы м.б. счастлива. Но у всякого своя судьба ”.

Зимний сезон кончился и Граня с мужем уехали к себе домой. Следующую зиму жили в Москве, гостили у своих. Отец и мать старели, не хотелось уезжать из привычного гнезда с камином, креслами, мягкими туфлями, привычной прислугой.

Как то приехала московская знаменитость посидеть вечерок. Это был известный адвокат, очень веселый, импозантный и когда он пригласил Граню с мужем поужинать в „ Метрополь ”, Граня охотно поехала. Мужа уговорить не удалось, так как подобралась кампания играть в „ безик ”. Граня вообще не терпела никаких карточных игр, считала сумасшествием просидеть несколько часов, переворачивая карты и была рада удрать от зеленой скуки.

Зало „ Метрополя ” было полно. Венский оркестр, публика, были все те же знакомые лица. Раскланиваясь направо и налево и вдруг взгляд остановился на столике, — Женя, молодой моряк, загорелый наискось лоб, — значит из жарких стран. Взгляды их встретились, Женя стала делать приветственные знаки, приглашая к их столу. Это совершенно не входило в планы Грани и она отрицательно покачала головой.

Женя встала из за стола и быстро подошла к ним. „ Прошу тебя, пойдем за мой столик ”. И как ни пыта-

лась отговориться Граня, что она приглашена этим адвокатом, у которого масса знакомых и много людей подходит к их столику и между пустой болтовней, говорят о деле, но Женя смотрела такими умоляющими глазами, видимо не смея сказать всего, что Граня просто сказала :

— Мы присоединимся к ним, — и адвокат покорно, понуря голову пошел. Адвокат тоже кое что сообразил из этой немой игры глаз и как воспитанный человек, моментально нашел интересную тему для разговора с моряком, дав возможность дамам поговорить по душе.

Граня узнала, что с Павлом полный разрыв. Моряк жених. Женя нигде больше не выступает на сцене, — моряк воспрещает. Граня возмутилась.

— Да ты что, кукла, что-ли. Павлушка восхищен, поощряет твои выступления в фарсах и ты играешь для его удовольствия в фарсах, моряк воспрещает ! Милая моя, не теряй себя, живи, как хочешь ты. Как можно носиться щепкой по взбаламученному морю.

Женя схватила руку Грани, „ ах, как хорошо сказала ты ", и заплакала. „ Ты знаешь, Алеша в Крыму с гувернанткой-немкой. Он был болен и доктор отправил его в Крым ".

Чтобы дать возможность Жене сиравиться со слезами, Граня обратилась к мужчинам.

— А вы уже кажется и подружились ? Анекдоты разсказываете, смеетесь ?

— Ну, у нас это быстро, ведь это Москва ! Москва слезам не верит.

Женя насильно улыбнулась сквозь слезы.

— А смеху женскому вы верите всегда ? — проскандировала она

Адвокат внимательно посмотрел на нее. Разговор стал общим и Граня уже подумывала уходить, но ее смущал какой то странный бегающий словно ищущий взгляд Жени. Она стала прощаться.

— Наши вероятно кончили свой „ безик ". Поднялась и Женя. Когда они выходили из подъезда „ Метрополь ", в этот зимний, холодный, пронизанный ледянным ветром, вечер, за огромными кадками с зеленеющими лавровыми деревьями, Граня увидела искаженное лицо Павлушки и властно взяв под руку моряка, скомандовала Жене :

— Бери под руку адвоката и молчи.

Быстро сели на лихачей и умчались. Прощаясь у подъезда ее дома, Женя крепко обняла Граню.

— Ты спасла нас троих. Бог наградит тебя за это.

Граню испугал немножко этот переплет. Разсказала неожиданно для себя, маме, с которой обыкновенно де-

лилась только спокойными вещами, что бы не тревожить старушку. Та пришла в ужас.

— Умоляю, порви с нею всякое знакомство. Ты не имеешь права рисковать ни своим добрым именем, ни жизнью. Бог знает, что может наделать эта безумица...

И однажды, играя на рояле, одним ухом услышала, как мама сказала кому то, — „ нет дома ". Граня не обратила внимания... Получила письмо, каракули Жени...

„ Мама твоя меня не впустила даже в прихожую. Что это значит, а всегда была ласковая. Что сделала я ? Моя мама умерла и я одна. Лене нужен Крым. Он с боной. У него слабые легкия. Хочу продать квартиру, вещи и снять поменьше.. "

Граня ответила : „ Поезжай к сыну. Как можешь жить так долго без него. Шестилетний мальчик один, больной, с постороней девушкой немкой. Ты должна жить с ним ". Письмо Грани вышло холодное, может быть немного жесткое, пожалуй сердитое, и она постаралась забыть об этом, недовольная собой.

И Граня с мужем уехали к себе домой. В этот сезон спектакль шел за спектаклем. Молодой офицер так удачно сыгравший писаря Фруктова, участвовал во всех спектаклях. Это был действительно талант, лишь типы Островского ему не удавались и играя Митю в пьесе „ Бедность не порок ", чуть не провалил пьесу. Популярность любительских спектаклей возрастала и режиссер понял, что теперь это уже не любительская труппа, а настоящие артисты настоящего театра, для которых нужны были соответствующие пьесы и очень частые репетиции, и он взял своих артистов в железные руки. Так как Иван Петрович, с носом загогулиной, перешел на роли комика, то „ жен-премьер " сделался офицер, Киррил Петрович, а Гране достались роли героинь.

Обыкновенно после репетиций шумной толпой все артисты высыпали на улицу и расходились по своим домам. Неизменным кавалером Грани и стал Киррил Петрович, так как по пути они еще обсуждали каждую малейшую деталь пьесы.

Чем сложнее была пьеса, тем больше зверствовал режиссер. Насколько он был щепетилен показал следующий случай.

Он ставил„ Маскарад " (Лермонтова) и сам играл роль Арбенина. На всех репетициях чувствовалось его недовольство собою, но все же репетиции продолжались. На генеральной репетиции, после объяснения с Ниной, он вышел.

— Киррил Петрович — позвал он — пожалуйте сюда ! — Проведите репетицию вы. Играть будете вы,

я недостаточно подготовлен. — Так щепетилен был режиссер.

Встречи стали чаще. Тонкая талия, томные, ласковые и жадные глаза, темпераментная игра, действовали на зрителя, а также и на артистку, которая была его партнершей. И Граня это чувствовала.

— Дело плохо, — говорила она себе. Но опять шли репетиции.

— Не так ! Возьмите его голову, поцелуйте крепче, нежнее, в лоб, ведь это последнее прости, — твердил Лемерман, поправляя. И Граня чувствовала это „ прости ".

Не пора ли прекратить эту игру на нервах ? Но прекратить сил не хватало, так как прекратить, это означало уйти из труппы. И снова Киррил Петрович провожал ее.

— Дойдемте до гимназии, — просил он. Новое здание гимназии еще только отстраивалось и фонарики на земле указывали „ опасно ". Они возвращались, ходя до усталости взад и вперед, до боли в ногах. Оторваться, расстаться было тяжело и трудно.

Он по пьесам, по амплуа, был всегда ее партнером; муж, жених, любовник, — все варьяции вели к одному, — к ссорам, примирениям, с объяснениям в любви, ревности, и временами они забывали, что они играют на сцене, не в силах были разжать объятия. И у нее стоял туман в глазах.

— Уйди, оборви, — говорила она себе, но сил уже не было. Ласки мужа стали противны. С трудом переносила даже обычный поцелуй вечером, на сон грядущий. А грядущие сны были продолжением мечты о нем. „ Ну что, матушка, проповеди читать легче, чем самой бороться. " А жажда его рук была такова, что она снова шла на муки играть с ним.

Неожиданно Граню вызвала тетка. Маме стало плохо и поселившаяся там тетка, растерялась. Приехав в Москву, Граня застала мать уже вставшей с постели. На другой день к Гране позвонили по телефону и глухой голос сказал :

— Вас просит приехать Женя, — и назвал плохие меблирашки, на Петровке, с очень дурной славой, как сказала мама. Не смотря на это, не сомневаясь ни на минуту, Граня оделась и поехала. Брезгливо поднялась по лестнице, красноречиво говорящей какого сорта этот отель. Открыла незапертую дверь и в ужасе остановилась. Растерзанная, опухшая, в белом капоте, с руками забинтованными до плечь, Женя была страшна. Дикий взгляд на искаженном лице и сразу :

— Ну спасибо ! До тебя не дозвониться. Я понимаю, твоя мать права, такие, как я, только мусорят жизнь и

другим и себе... Ну, только, милая моя, тебя не свернешь. Напрасно мама твоя так думает, а я пропала.

Граня слушала поток упреков, сначала не понимая, а потом сообразила, что видимо Женя звонила, но мама скрыла от нее.

— Женя, я только вчера приехала, что случилось? мягко сказала она.

— Все случилось, ты понимаешь. Меня вызвали в Крым после твоего нравоучительного письма, когда ты прочитала мне натацию за историю в „Метрополе", и требовала, чтобы я ехала к Лене, больному Лене, который имеет бонну немку, но не имеет отца и матери... Конечно, ты права. Ведь осудить и покарать легко, а ты не поняла, что я женщина пожертвовавшая жизнью со стариком, за удобство больной матери. Она имела все, а я старческий каприз. Я полюбила Павлушку. Не скрыла от старика. Он простил, понял, а ты не поняла. Павлушка не мог иметь просто подругу швейку, модистку, лектрису. Балерина, артистка из Буффа, да... Я отжаривала „Флорет и Патапон", куда меня взяли по его рекомендации. Я была бездарность, но меня держали потому, что несколько лож были заняты Павлушкой с друзьями. Цветы, подношения и проч. сыпались без конца. Я не была на содержании, я жила на свои деньги. Жениться на мне Павлушка не мог, гвардейский офицер. Разве можно! Я ушла. Моряк, — кролик милый, хотел жениться. Но я затянула отъезд мой в Крым. Мне хотелось приехать в Крым не девицей, а женой, с отцем к моему сыну. И вот я получила телеграмму. Леня умер без меня. Я приехала, похоронила его там и с фрейлен вернулась сюда. Моряк уехал к месту службы. Я дала объявление — ищу место в труппу драматическую. Средств хватило только на эти меблирашки. С сыном ушло имение, которое ведь было записано на него до его смерти. А также и женитьба моряка ушла. На его жалованье не проживешь... Два дня тому назад мы стали чистить с фрейлен мои белые перчатки, лайковые, бензином. Я должна была показываться в театре, чтобы найти работу. Перчатки были у меня на руках, сохли, а фрейлен завивала локоны. Я подошла к ней, видя, что она делает неумело и испортит мне локоны, пережжет. Протянула руки, перчатки вспыхнули и вот...

Женя свалилась на постель лицом в подушки, чтобы заглушить рыдания. Граня тихо гладила ее плечи, волосы, успокаивая.

— Руки заживут. Кружевные длинные рукава, перчатки скроют ожоги, пудра, крем сделают свое дело. Ты еще молода, все пройдет. Сцена заполнит твою жизнь.

(Женя успокаивалась). Пропало имение, так ведь теперь ты одна. А „одна голова не бедна, а бедна, так одна. Слезами не поможешь. Нужно что то делать.

Женя успокоилась. Тяжело вздохнула.

— Если ты меня не бросишь, я выпрямлюсь... Фрейлен съела мои последние деньги. Но, слава Богу, хватило отправить ее в Ригу, к родителям. Правда, ни Лени, ни прежней жизни не вернуть.

Граня ничего не говорила, только гладила ее волосы. Граня, несмотря на протесты мамы, просьбы не навещать Женю, приходила в три часа дня и оставалась до вечера. После каждого посещения антрепренера Женя приходила в неистовство. В истерическом припадке могла наделать глупости. Словом Граня в это время сделалась ее нянькой и часто она винила себя, зачем отговорила Женю от брака со стариком. Может быть они как нибудь и ужились бы.

Антрепренеры приходили. Вид у них был довольно потрепанный. Один искал артистку для Гомеля. Другой — для Белостока. Третий — для передвижной труппы, — инженю. Прошло их безцеремонных, нагловатых, ощупывающих глазами с ног до головы, не мало. После визитов, Женя оставалась совершенно разбитой. Руки, конечно, портили впечатление. Широкие рукава, очаровательное неглиже, только подчеркивали безобразие.

Один, прищелкнув языком, сказал, — плохо, без рук не подойдет. И откровенно спросил Граню :

— А что вы хотите ? Рискованные туалеты мои, бенефис, — 300 в месяц. Верное дело.

Граня ответила спокойно, — мало. В такую глушь не поеду. Или не меньше шестисот с моими туалетами. — Женя посмотрела обезумевшими глазами, но увидя улыбку Грани, поняла игру.

— Почему ты так с ним говорила ? — все-же подозрительно спросила Женя.

— Хочешь знать ? Хорошо. Видишь ли, твой случай заставил меня подумать многое и многое решить. С мужем отношения создались у меня странные, с тех пор как я стала играть в любительских спектаклях. Не знаю, как умеют „играть" другие, но я должна переживать, чувствовать человека - партнера, чтобы действительно дать настоящий цельный образ... И даже после сцен вражды, любви, ревности, у меня остается волна этого чувства, когда я уже за кулисами. Вот это особенность и сделалал то, что я увлеклась одним партнером. Он не артист. Но временами мы думаем с ним, не бросить ли мне семью, мужа, сына и мы поступим в труппу профессиональных артистов. Играть в серьез. Но вот я смотрю,

слушаю и вижу антрепренеров, которые приходят к тебе... Да, играть у Незлобина, Собольщикова-Самарина, Императорском театре, в Художественном театре, в больших антрепризах, — это одно дело. Там ищут талант. Но вот эти маленькие антрепренеры, твои наниматели, чем они восхищались во мне ? — моей свежестью. Каждый из них говорил это. А пройдет свежесть, потом останется каторжная работа увядающей женщины. Какой хороший урок дала мне твоя несчастная случайность. Ведь случись это несчастье, ожоги, с учительницей, женщиной врачем, художницей, музыкантшей и с такими рубцами они спокойно продолжали бы свою деятельность. А артистка, — карьера ее кончена. Какая трагедия !

Женя заплакала. Граня стояла у окна и смотрела в темнеющую улицу. Зажигались фонари, тихо покачиваясь, словно в такт мыслям.

— Не плачь, Женя. Завтра перевезу тебя в другой отель. Перестань встречами с антрепренерами расстравлять себе раны, поправляйся, а потом мы с тобой будем говорить о дальнейшем. Деньги я тебе буду посылать.

Граня помолчала. Молчала и Женя.

— А я еду домой, к сыну и мужу. Мои мечты о сцене сгорели вместе с твоими лайковыми перчатками.

## АГРИППИНА ПЕТРОВНА

Агриппина Петровна лежала тихая, словно просветленная после исповеди и причастия. Мыслей не было, а словно тихое дуновение ветерка осталось после ухода Батюшки, о. Сергия. Словно все мрачное, горькое унес он в складках своего одеяния. Думать о житейском больше не надо. Осталось мало шагов до грани, до конца, где последний вздох примет земля, а там...

Как хорошо, что Сережа привел Батюшку о. Сергия. Какой мир принес он с собой, и словно крылья выросли к полету.

При имени Сережа, брови Агриппины Петровны нахмурились. А сколько этот мальчик терзал бабушку шалостями, упрямством. Однажды чуть не сжег дом экспериментами. Уже половину вещей повыносили из дома. Две пожарных команды тушили. А что в саду то наломано было, батюшки-светы! Деревья фруктовые, кусты ягодные, грядки с овощами, клумбы цветов, — все притоптали. Ах, какой нравный был! И вот сейчас... и она вспомнила, как она, полная негодования, драла его за уши.

А сейчас вот, этот басурман вышел на широкую дорогу, легче вздохнулось. И жениться не хочет, пока младшую сестренку не подымет. И священника пригласил, и сам в больницу каждый день заходит... И бабушка смахнула слезу... И на Машу зря сердилась и прикрикивала. Какая беда, что со студентами в саду посидит, на качелях покачается, кампанией в лодке поедут, и всегда тетю Таню с собой возьмут. Нужно и тете Тане развлечься. Не беда, что коротконожка. Принарядится, так заглядишся, — а молодежи все же лучше иметь человека посолиднее. Душа у Маши хорошая, и зря я читала ей нотации, да выговоры.

Ну и Наденька, дочка, не плохая. Детей выростила в страхе Божьем. Понятие о стыде внушила не то, что на темный лес глядя, ростила... Вот сейчас я, как будто, на высокую гору поднялась и все ясно вижу... Как же это я, живя бок о бок с ними, ничего не поняла, не видела какая у меня хорошая семья... И Агриппина Петровна очень огорчилась, что часто неосновательно укоряла дочку и ее мужа Федора Степановича в разных грехах и погрешностях против нее. Застыдилась и сокрушенно покачала головой.

— Молчи и ни о чем не думай, не допускай земных мыслей, все это прошло, а теперь... еще шаг и ты за порогом житейских бурь и невзгод...

И тихо смотрела, как надвигались тени из угла комнаты. Затихла. Гнала мысли, а житейское все наплывало из уголков памяти.

Но как ни старалась она уйти от земли, земля не пускала и вся жизнь проходила перед ней, как в панораме.

Да, прежде чувства выявлялись как то целомудреннее, скромнее, тоньше и лишь в стихах, в музыке, романсах можно было высказать то, что кипело на душе. Василий Сергеевич пел „ нет, только тот, кто знал " Чайковского и всем было все понятно. И никто не смел прижать талию дамы нежнее, крепче дозволенного во время танца. Но теперь много вольнее, иначе, и не смела требовать от детей жить моей жизнью.

И вот, так шаг за шагом, бабушка уступала позиции новой жизни. И ей невыносимо захотелось быть снова в семье, но совсем по другому, любить их, и делить с ними их горести и радости, которые, конечно они прячут от меня, властной капризной старухи...

— Прости меня, Господи, грешную. Зовы земли слышу я и хочется мне в родную семью... Совсем по другому вижу я их мысли, поступки, теперь...

А ночь темная, звездная залила небо шатром южным...

Дома не спали. Зашел отец Сергий, успокоил.

— Все прекрасно. Очень слаба бабушка, но принимает все достойно. с сознанием. Я видел, как будто даже сила в ней появилась и просил доктора не переводить ее в дальнюю комнату. Еще много жизни в глазах Агриппины Петровны. Да и исповедь и причастие очень часто вливают силу и волю жизни в угасающее тело.

Священник ушел. Семья грустно сидела за столом. Было поздно.

Агриппина Петровна нрава была тяжелого. Наследовала характер отца. Новую жизнь принимала туго. Муж любил и потворствовал. Муж умер. Сын женился и она стала жить с ними. Одной скучно в большом доме, как в „Брынских лесах” заколдованных... Одна одинешенька бродит. Пусто скучно... Но у сына жена попалась с характером, — двум медведям в одной берлоге не ужиться, говорит пословица.

Агриппина Петровна уехала к дочке. А там ребята. Закону Божьему приходил учить о. Сергий. В гимназии проходят легкомысленно, — решила Агриппина Петровна. А без Божьего закона не прожить человеку. Спотыкаться начнет, а уцепиться не за что. А раз в пути ошибешся, начнешь петлять, как заяц от охотника, и вовсе с пути собьешся.

Отец Сергий любил сварливую старуху за честность, прямоту, но порою уговаривал.

— Да вы, голубушка моя, помягче, как дуги гнут. Не спорю, учить жизни надо, ну все же помягче.

Семья уставала временами от окриков, хотя все понимали, что старуха права. Видели как кривится жизнь у соседей. У одних дети вышли „поэтами”, но на Пушкина, Лермонтова, Фофонова и проч. походили только отложными воротничками и небрежным зачесом локона на пустом лбу. А рифмовали безжалостно, — „грезы, козы, морозы” или вгрызались в политику и возвращались домой в сопровождении городового со сходки. Путанное было время. Как то сбивались пути, по которым шла молодежь.

У Агриппины Петровны не собьешся. Поговорит, расспросит душевно, выругает если надо. И все знакомые удивлялись.

— Ах как хорошо. Внучка на рояле играет. Как хорошо пристойно одета, на балах как держится, — будет завидная невеста. А Сереженька архитектор с именем. Но рука у Бабушки тяжелая.

Даже дочка с мужем ссориться не смели, а если и происходили недоразумения, то шепотком, ночью в спаль-

не, где Наденька могла пощипать гневно мужа, пользуясь его легким одеянием. Через пиджак не ущипнешь.

Праздники справлялись пышно.

Бабушка захворала на Вербной неделе и до того измучила капризами и причудами всех, что ясно было, — праздник будет не в праздник если... что если? Бабушка не поправится? А кто знает, не станет ли еще сварливее? не умрет?

Страшная мысль эта пришла и ужаснула. Как желать смерти той, которая выходила дочку Наденьку, внуков, Сереженьку? Сделала примерных людей... И вдруг Бабушка сказала :

— Хочу лечь в больницу. Без мыслей и забот я скорее поправлюсь, — а про себя подумала, — либо помру.

И знали, что раз сказала, надо сделать. В больнице уход чудесный. Доктора друзья. Лечат, ходят, как за родной. Внуки приходят каждый день. Сидят, пока не устанет и задремлет. Все то ей разскажут.

В семье в первые дни освобождения от воли бабушки дышалось как будто легче. Никто не следил за грацией и манерами Машеньки. Кривоножка-Танечка оделась совсем не по бабушкиным заветам, а налепила красный бант на прическу. Сережа, заложив ногу на ногу безжалостно болтал полуснятой туфлей, — жало ногу. За столом был слышен смех и стук ножей и вилок громче обычного.

Распустились, — подумала Наденька, — как мама ушла, все стало вихляться и даже прислуга разнуздалась. Хуже или лучше, вглядывалась она в волну новой жизни. И чем дальше, тем хуже, как то все устали от свободы, т. е. безалаберщины, без бабушки, особенно хозяйка Наденька.

Ох, хоть бы мама поправлялась, и она в безкровном лице больной искала улучшение.

Но вот на Страстной бабушка никого не принимала. С утра лежала тихая, вся в мыслях и к вечеру попросила священника. Все передумала, все грезы осознала. Губы бледные, взгляд далекий, все стало чужим и ненужным...

— Я готова уйти ко Господу, думала она и попросила священника...

Семья трепетно ждала утра. Сереженька с 7 часов утра уже был у ворот больницы, распрашивая сторожа, не слышно ли было какой тревоги ночью. В 8 пустили в больницу.

Бабушка лежала спокойная, тихая и показала глазами на сухонькую ручку. Сережа поцеловал. Молчали.

— Сережа, скажи отцу, взять меня домой...

Бабушка дома. Уложили и всем хотелось побыть с бабушкой. Доктор приказал не вставать и не волно-

ваться... На душе у всех посветлело. И даже подумать было страшно, если бы случилось... и бабушкина спальня опустела...

В доме пахло шафраном, ванилью, печеным сдобным тестом. Горы крашенных яиц приносили показать бабушке и развлечь ее.

С утра в Страстную субботу бабушка объявила, что в церковь пойдут все, а в доме останется она одна. Ослушаться и спорить боялись. Ну, Бог даст, все будет хорошо.

Гудели колокола и в открытую форточку задувал теплый весенний ветерок...

Шурша гравием подкатили экипажи и вся семья ринулась к бабушке в спальню. Постель пуста, бросились в столовую.

За столом важно сидела бабушка на своем председательском месте, в сиреневом шелковом платье и кружев ной наколке. И с радостным лицом приветствовала входящих.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.

# БЕСЕДКА

В беседке по уголкам в густых виноградных тяжах, с сине-багровыми листьями и гроздьями винограда, прятались синенькие электрические лампочки. И темными ночами беседка казалась таинственным гротом, а в лунные ночи, голубым царством теней, — вот, вот выйдут Титиль и Митиль, дети волшебника Метерлинка.

Но беседку чаще посещали живые души, — блуждающие огоньки. Дядя Костя, ротмистр в отставке, волосы бобриком, в полотнянной белой рубашке, вышитой по вороту крестиком, пышные усы и серые ласковые глаза. Он лениво перебирал струны гитары, напевая в пол-голоса.

„Тень высокого старого дуба
Безприютная птичка любила.
На ветвях его, сломленных бурей,
Она кров и приют находила.
И как будто бы старому дубу
Было внятно ее щебетанье
Веселей его ветви качались,
И слышней было листьев шептанье.
Улетела ль веселая птичка
Или бедную вихри угнали,
Только ветви столетнего дуба
Неприветны и холодны стали.
И теперь он стоит одинокий,
Весь исполнен тоски и истомы.
Вспоминая о птичке далекой
И тоскуя о песне знакомой.”

Все так привыкли к его мурлыканию в пол-голоса, что и сейчас, как обычно, болтали, смеялись.

Настенька, институтка второго класса, девочка лет 16-ти, впилась в дядю Костю, не отрывая глаз, а когда он кончил, вынула носовой платок и долго держала у хорошенького вздернутого носика.

— Это он про себя пел, — повторяла она, словно внушая себе. Да и многие так думали, что дядя Костя поет это про себя. Но у одних в груди кусок льда, камень, градусник с переменной погодой, — разные бывают сердца. А у Настеньки было настоящее сердце, которое в мучительные минуты „ обливается кровью ". „ А у меня сердце кровью облилось, как увидала сына на носилках ", говорит мать. Так вот сердце Настеньки было настоящее, Богом данное сердце, которое умело обливаться кровью.

Не было чинов и возрастов в беседке, все были равны. И рыжеватый прапорщик непринужденно сидел верхом на стуле, а полковник, засунув руку за борт наглухо застегнутого кителя, стоял перед ним, жестикулируя и поясняя, как он блестяще выиграл скачки. Прапорщик возражал. У отца прапорщика был конский завод, брали призы и в Москве и в Петербурге. Знаменитый тренер англичанин Вильям Кейтон, заправлял конюшней, так уж прапорщику ли не знать о кровных лошадях. Слава Богу, с трех лет родитель посадил его на коня. И спорили они горячо.

Часто играли в фанты. Мужчины честно выполняли, проиграв, — кричали петухом, ходили на руках, как акробаты, декламировали оды, мадригалы, танцевали жигу, пели невыносимыми голосами, клянясь, что первый раз в жизни поют и изумлялись, что оказывается голос есть.

Зоя приехала недавно и все не могла привыкнуть к гаму, шуму, пению в двух трех углах беседки разом... Здесь разсказывал анекдоты Ваня Перешников, забубенная головушка, тут тихо мурлыкая, пел дядя Костя. Там учили танцевать менуэт для любительского спектакля заехавшего „ на огонек " земского Начальника. Напевали Веберовский мотив и все разноголосые звуки ладно сливались, как прибой волн.

Хорошо веселилось в беседке! Зоя называла всю эту разноголосицу „ дым коромыслом ", но временами хохотала от души и сама, и тогда среди красиво очерченных ярких красных губ, сверкала полоска острых мелких зубов, как у ласки.

На конюшне конюха их ненавидят. Этот крохотный зверек щекочет лошадей по ночам. Лошади совсем измучены, обезсилены, брыкаясь, выбивают перегородки в ден-

никах, мокрые от пота, часто калечат себе ноги. И кучера ночами должны караулить. Поймать ласку трудно, — увертливая, хитрая. Но если удалось загнать ее в угол, она становится на задние лапки, передними машет, защищается до последней капли жизни, и плачет горькими слезами. Так говорил кучер Василий. Он был еще молод, душа не очерствела и он отпускал ласку, — не мог заколоть вилами. Лучше ночами спать не буду, буду караулить.

К Зое тянулось не мало рук и взглядов. Высокая, тонкая, фигура юноши, безгрудая, без торса, в красивых прямых платьях, — дитя Востока, — сказал Предводитель Дворянства, заехав сразиться в винт. Большие, черные, как сливы продолговатые глаза, хмурые темные брови и тонкий нос с ноздрями арабского коня. Ноздри эти ходуном ходили, когда она злилась. Наряды ее были просты и дешевы, но всегда пестры, к лицу. О, она знала цену и рукам своим. Недаром накручивала нитку голубых бус на руку, от запястья до локтя, оттеняя золотистую смуглую кожу. Белые блузки или полосатые татарские халаты, перетянутые однотонным кушаком, подчеркивали тонкую талию.

Однажды играя в горелки, дядя Костя нагнал Зою и схватил обеими руками за талию и талия словно растаяла в его руках, — пальцы его рук сошлись.. Среди полненьких помещичьих барышень, она была такая единственная. После случайного объятия, дядя Костя потерял голову.

Часто, по ночам, с горящими лучинами ловили раков. Ну что за прелесть! В уже охладевшей воде, подобрав до колен юбки и засучив рукава, под камнями, в расчелинах, забирали усатых, сердитых, ослепленных светом лучины, раков. Прохладно, весело, раки хватают клешнями, пучат глаза... И вот тут сухая породистая смуглая ножка Зои, опять бросилась в глаза дяди Кости, непобедимая, единственная.. .

Беседка была тем хороша, что единственно где недреманное око теток и дядей не присутствовало, и молодежь веселилась, как ей хотелось.

Лилиеобразное горло грамофона напевало и танго Макса Линдера, и нежные мелодии Вертинского, „Мой маленький креольчик ”, „Дым без огня ” и Вяльцеву, — „Ах, да пускай свет осуждает ”...

И слушали, и танцевали, и часто лишь утренняя заря разгоняла по постелям. А днем жизнь текла без грез и обмана. Днем пробуждался и дядя Костя от грез, — да разве Зое нужен я? промотавший три состояния, живущий у богатой сестры, переживший сто жизней, переви-

давший весь свет? Израненный, болит то там, то здесь. Охать и делать страдальческие гримасы я себе не позволяю, приказывая, — живи и молчи... И Зоя — арабский конь. Ведь это я сам в молодости. Никакая узда не удерживала. Эх, если бы эта встреча, да лет двадцать тому назад ! А сейчас молчи, не будь смешен... И в уголке, под гибкими пальцами дяди Кости звенели страстью и негой струны гитары.

„Ведь в вас царит одно кокетство,
Но я вас все-таки люблю"...

И как ни старался скрыть свое чувство дядя Костя, оно прорывалось в песне...

Верстах в восьми было имение совсем дряхлых помещиков. Состояло это семейство из множества родственников, постепенно понаехавших в „Спокойное", к одинокому старику. Наехали эти родственники по разным причинам. Кто разорился, кто устал служить, кто вышел в отставку... Старик был одинок, богат, добр и ласков со всеми, кто бы ни пришел, кто бы ни приехал, — на долго ли, коротко ли, все равно. Дом большой, места хватит всем. Холмогорские коровы молока дают, хоть ванны принимай. Огород богатейший. Дряхлый садовник творил чудеса в оранжереях. Зимой кормил земляникой, клубникой, черными сливами, персиками. И вот к этому гостеприимному дому прилетела ласточка и оживила дом.

Мальчик кадет, только что вышедший в юнкера, правнук хозяина, Валя. Он был круглая сирота. Сначала умер отец в Ялте, от чахотки. За ним сгорела быстро и мать от горя, и Валерьян приехал к родному прадеду. Высокий, худенький, с впалой грудью и нежным румянцем на щеках. Доктору, лечившему всю семью, этот румянец не понравился и он, в первый же день отпуска, на лето отправил юношу на подножный корм к прадеду Валерьян Платоновичу. Старик видел, что юноше скучно со стариками. Спать ложатся с петухами и с петухами встают. Разговоры начинались всегда с, „а помнишь, Матушка Екатерина подарила табакерку Саве Прозорову?.. А помнишь, как я танцевал с женой Волынскаго менуэт, в каком это бишь году?.. и вспоминают, вспоминают...

У этих людей было уже лишь „а помнишь", но ничего из настоящей жизни. Все в прошлом. И прадед надумал, — отвезу Валю к Борисовским. Там ему настоящее место, а не среди нас.

Юноша очень тихий, скромный, попав в большое шумное незнакомое общество, не растерялся и держался так, что даже неуемные остряки, не решились подшутить над новеньким. У него была странная манера временами

откидывать голову, словно прядь волос мешала ему, но волосы были коротко острижены и пряди не было. Он внимательно в первый же раз, как вошел, всмотрелся в общество и сразу, словно всех поставил правильно на места. Отметил треугольник, — Зоя, дядя Костя, Настенька.

Больше всего ему стало жаль Настеньку. Зоя не понравилась, — точнее, он сразу определил ее тип и сказал однажды в разговоре с прапорщиком, что мог бы увлечься и сильно увлечься, но никогда не мог бы жениться на „ такой ".

— На какой „ такой "? — спросил рыжий прапорщик.

— На женщине, которая отравила бы мне жизнь.

— Откуда вы знаете?

— Знать не могу, я лишь чувствую ее. И вижу ее всю...

Зоя тонко и незаметно затягивала паутину над рыжим прапорщиком, но тот был влюблен лишь в лошадей. Однажды прохладным вечером, в ожидании обеда, играли в крокет в саду. Зоя кокетливо, умышленно посылала шар прапорщика возможно дальше.

— Замечательно! восклицал рыжий и при первой возможности гнал тоже шар Зои к „ черту на кулички ", как объявил он.

Зоя постоянно говорила ему колкости, стараясь задеть его, заинтересовать, обратить его внимание на себя. Прапорщик грубовато отвечал, и всем казалось, что Зоя и прапорщик ненавидят друг друга.

Но от любви до ненависти один шаг, говорит русская пословица, — вероятно и от ненависти до любви шагов не было больше, и задор рыжего как то незаметно растаял и Зоя тихой сапой подбиралась к его сердцу.

Ах, какие чудные рысаки бегали на московском ипподроме! С каким азартом апплодировала Зоя, когда пришел „ Задорный " первым. У рыжего были слезы на глазах от восторга и он посапывал носом, радуясь победе „ Задорного ". Его конюшня получила первый приз. Совершенно неожиданно, Зоя появилась около, туго охватила его шею руками и как бы в экстазе, поцеловала рыжего. Увидя это, у дяди Кости перехватило дыхание и шея побагровела, казалось, еще минута и он бросится на рыжего, а у Настеньки захолонуло сердце за дядю Костю, но рыжий недоуменно принял поцелуй Зои и отшатнулся. Сердца дяди Кости и Настеньки стали на места. Инцидент прошел незамеченным.

Но рыжий, после бурных переживаний на ипподроме, пришедший в себя, вечером вспомнил и горячие руки, обхватившие шею и тяжелый пряный запах духов „ Астрис " Пивера и долго блуждал по саду. Он пытался по-

нять, почему, зачем Зоя это сделала? Ах, если бы он догадался, а догадаться было бы просто, что за его рыжим вихром, развязными черезчур манерами, ей виделась привольная богатая жизнь...

Мама писала, что она сделала последнее усилие, продав „Соколки", на эти деньги, одев ее — Зою — и отправила на отдых. И если Зое не удастся найти партию и выйти замуж до зимы, до сезона, то выезжать на балы средств не хватит. Деньги за проданные „Соколки" все истрачены, значит, придется работать.

— Гувернантка, дам де компани, телефон, — нет, это слишком, шептала Зоя, пряча письмо матери. — Нет, с рыжим это еще не конец. Еще все может измениться. Ушел, убежал, значит загорелся... Ну, а если сорвется с рыжим, кто сможет заменить его? Дядя Костя? Он беден, но Катерина Андреевна богата. Она должна поделиться с братом, если он скажет ей о своей любви ко мне, и женитьбе. На что ей деньги? Она стара, жизнь прожита и ей нужно так мало. Зоя словно забыла в своем эгоизме, что около этих стариков ютилось так много одиноких, обиженный судьбою людей, старых вдов, без пенсий, отставных учителей, ими же поддерживалась Церковь, приюты, школы, богадельни. Перед праздниками целые ящики с провизией посылались в тюрьмы.

Да и сама Зоя отсылалась матерью на подножный корм к этим же добрым помещикам, и еще в памяти Зои задержалось, как приехав с матерью в гости, к дальней родственнице, Зоя взяла после дороги ванну. А мама попросила Аришу, — „истопи баньку с березовыми вениками", захотелось ей по старинке попариться. Уж какое мытье в ванне?

А Ариша, всегда счастливая угодить молодой барыне, страшно смутилась.

— Да уж не знаю дитятко, как и сказать тебе. Ну невозможно баньку истопить, там Сашка Тиропка живет с тремя ребятишками.

— А почему же, Ариша, Сашку эту Тиропку туда поселили?

— Да муж то ейный, печник, помните, с серьгой в ухе приходил, невзрачный такой, да грубый, да и выгнал Сашку из дому. Ну барыня и разрешила ей поселиться с малыми детьми в баньке. Все, мол, с мужем наладиться, она и вернется к мужу. Ну, а та живет и живет, разве выгонишь. Так теперь баньку новую строим, вон гляньте в окно, отсюда видать. Скоро готова будет. А старая барыня как в ванну залезет, страсть как сердится, — ни тебе настоящего тепла, ни тебе веника духовитого

и телу никакого бархату не дает. — Сердится, а Тиропку не гонит...

Все это вспомнила Зоя и как то ущемило, — значит новые хозяева могут и разогнать всех этих прилепившихся, бездомных, обиженных судьбою людей. Но мысли эти у Зои задержались не долго. Найдутся и такие сентиментальные мокрицы, как Настенька и приютят...

Рыжий исчез. Появлялись новые люди. Беседка жила попрежнему. Зоя прикидывала мысленно всех, кто крутился около, кто бывал у них. Но все это молодежь, офицеры, которые по большей части только расписывались в получении жалованья, оставляя его целиком в офицерском собрании, и Зоя решила, дядя Костя, единственный, о котором стоит думать и может быть Валя, но ему 19 лет и Зоя густо покраснела.

И вот однажды, смеркалось. словно какая то тихая грусть наплывала от реки. Было слышно, как звенели комары. Дядя Костя грустный, может быть чувствуя надвигающуюся осень, а за нею холодную зиму, время, когда вся молодежь покидает усадьбу и унесет с собою неумолчный шум и веселье и настанет тишина порой томительная, — задумчиво сидел в беседке.

В другом уголке сидели, тихо переговариваясь Настенька и Валя. Между ними завязалась крепкая дружба. И когда подходил Валя, девочка чувствовала что то близкое родное в этом тихом мальчике. Серцем она относилась к нему покровительственно, а умом понимала, что этот мальчик вдумчивый, серьезнее многих взрослых людей.

Неожиданно вошла Зоя, словно нарушила эту тишину. Она медленно подошла к дяде Косте и села рядом с ним.

— Спойте что нибудь, и бархатным взглядом заглянула в его глаза.

Дядя Костя взял несколько аккордов и Настенька увидела, как Зоя тихо наклонила головку к плечу дяди Кости. Тот недоверчиво покосился. Но головка осталась на плече. Не веря самому себе, дядя Костя взял аккорд и запел.

„Не дари лучезарной улыбкой,
Не дари меня взглядом своим,
Ведь могу я подумать ошибкой,
Что и вправду тобой я любим.

Так шути же со мной осторожно,
Бедным сердцем нельзя так шутить.
Полюбить так легко, так возможно,
Но как трудно, как тяжко забыть.”

Голос дяди Кости прозвучал такой тоской и радостью и предостережением, но головка осталась на плече.

Валя дернулся и покраснел густо. Настенька положила свою руку на его и крепко нажала.

— Валя, вы приехали сюда поправляться, но вы таете на глазах. Они большие, сильные. Мы с вами ничего не можем изменить. Пусть это гадко, некрасиво с ее стороны, пусть мы знаем, что это ложь, но будем только страдать и мучиться. Я уйти не могу. Если Катерина Андреевна поймет, мой уход обидит ее. Она как мать бережет меня. Мне уйти некуда, но вы свободны, уходите, уезжайте так, что бы никто не видел. Зоя хитрая и вашу любовь, ваше чувство понимает и дразнит, с какой целью — не знаю. Валя, милый, уезжайте...

Чуть брезжило утро, Валя верхом уехал к раннему поезду и не вернулся. Настенька за утренним чаем сказала.

— Он увидел во сне, что захворал Валериан Платонович и поспешил туда. Если там все благополучно, он вернется.

На прощанье Валя взял у Настеньки платочек с вышитым васильком.

— Скоро увидимся, Настенька.

— Да, кивнула головой печально и добавила шопотом, — кто знает...

Зоя работала над покорением дяди Кости. Без полной его покорности и подчинения, она боялась начать нужный разговор.

И вот однажды, как бы невзначай, —

— Дядя Костя, если бы вы женились, Катерина Андреевна поделилась бы с вами своим богатством?

— Т. е. как ?, недоумевающе спросил он. И точно начиная понимать что то неприятное, он провел пальцем между воротом и шеей, словно ему стало тесно.

— Ну не пожалеет же она отдать вам половину состояния, если вы попросите, — продолжала Зоя, не замечая его жеста. — Ведь жить ей не долго, а после смерти, все равно, все будет ваше.

Дядя Костя встал, выпрямился во весь рост, расправил плечи, голова откинулась назад, — простите, я не понимаю, — и быстро ушел в свой флигель.

С дядей Костей было плохо. Из флигеля к завтраку и обеду приходил доктор и по долгу разговаривал с тетей Катей. Зоя жила, ехать ей было некуда. Мать пересылала ей почту. Однажды получила голубое письмо — секретка. „Любящая тебя Люся Арнольд”. прочла Зоя подпись. И ей вспомнилась белокурая девочка, одновременно с ней кончившая гимназию. Люся писала.

„ ... Недавно приехал из имения один знакомый и много разсказывал, как весело провел он время в деревне. Всюду бывал у соседей, назвал твое имя. И вот мне захотелось написать тебе. Я работаю в Петербурге на городской телефонной станции, работа не трудная. Отец зарабатывает на спокойную ровную жизнь, мне была предложена такая же жизнь, но я хочу быть независимой, бывать в театрах, концертах, быть хорошо одетой, и я с разрешения родных стала работать на телефонной станции. Будешь в Петербурге, заезжай, буду рада. Адрес, Караванная дом номер 43. ”

Суровая складка глубоко прорезала лоб Зои.

Вечером было скучно. Настенька у себя на антресолях читала хрестоматию ребятишкам садовника. Катерина Андреевна перед камином, чуть тлеющим, вязала гарусный шарф. Зоя стояла у темного окна и смотрела в парк. Что пережито за это лето в этом парке? думала она, не отрываясь от темных аллей.

Горничная позвала к столу. — Пойдемте, сказала тетя Катя. Перекусим, чем Бог послал. — Только все сели за стол, как вдруг появился дядя Костя с высоким бравым офицером.

— Мой друг Звягинцев, Андрей. Проездом заглянул ко мне. Прошу любить и жаловать. Умен, красив, богат, — выразительно кинул он, взглянув на Зою.

Настенька захлебнулась, покраснела, как пион, закашлялась, зачихала. Все обратили внимание на ее смущенное растерянное личико, Зоя не моргнула глазом, точно ее это и не касалось.

И опять весь вечер звенела гитара и пели уже два голоса.

„ Кто купчих бросает в жар, —
Голубой Сумской гусар,
Журавель мой, журавель, журавушка молодой.

# ТРИ ВСТРЕЧИ

Входя в зало она услышала „ Забыты нежные лобзанья, угасла страсть прошла любовь ”... И на эстраде увидела его. Молодое спокойное лицо с чуть пробивающейся белокурой бородкой и усами. Светлые ласковые глаза, неумеющие лгать...

Сегодня он пел, а вчера вечером он ей честно сказал...

Она вернулась к нему. Она бросила все, и вернулась к нему. Она убедительно говорила, что там, куда она ушла была лишь вспышка ее необузданного темперамен-

та, что там все сожжено на сумасшедшем сумасбродном огне, остался лишь пепел и зола, серая, безцветная, и само воспоминание неприятно до отвращения. Противны руки, глаза, губы, — ну все, — все. От человека не осталось даже тени...

Но чем горячее она убеждала его, тем спокойнее становился он, и тем настойчивее утверждал, что это минута, а потом снова потянет к тем же рукам и глазам.

— Послушай Ната, я очень молод, правда. Но я музыкант. Я чувствую музыку во всем, — в шуме водопада, в шорохе листьев под ногами, идя по аллее парка, засыпанной опавшими листьями. В прибое волн, перелете птиц, трепете их крыльев. Так я слышу в твоем голосе еще неизжитые там, с... он хотел назвать имя, но не смог, — что то встало в горле и не сказалось... с ним, — словно выдавил с силой он. — Ты плачешь, клянешься, говоришь как будто с отвращением о пережитом, но Ната, друг мой, родной мой человек, — он положил ей руку на голову, склоненную к его коленям, — ты мне напоминаешь человека, объевшагося до отвращения любимым блюдом. Последствия ужасны, мутило, тошнило, при воспоминании, хотелось забыть даже самое название блюда. Но проходило время, проходило впечатление чрезмерного, смягчалось, появлялись новые линии, звучали по иному слова, светло-сиреневые тени обволакивали багрово-красную полосу, и в сумерках этих теней, снова видны те же руки, глаза, голос, ради которых было брошено и забыто то, что ты хочешь вернуть теперь. Я знаю тебя лучше, чем ты сама...

Ната плакала, прижавшись лицом к его руке, лежавшей на коленях. Он резко отнял руку, —

— Не унижайся, Ната. Это так не похоже на тебя. Что стало с тобой ? Та, прежняя, ты могла разможжить мне голову за непонравившиеся слова. Молча, закусив губу и обдав меня гневом, презрением, уйти. Но это, — не твое. Где же ты, и что стало с тобой? Неужто действительно все выгорело в тебе, — вся непокорность, азарт, пренебрежение, полет, все, все выжгло?. Ната, я пойду. Мне мучительно тяжело. Прости, потом, может быть, но сейчас это выше моих сил. Разреши, — не сердись, я уйду или я заплачу при тебе и тогда стыд и ты больше меня никогда не увидишь...

Ната кивнула чуть головой и он ушел. Где то временами, меж кустов и деревьев мелькала его тень, белый чесунчовый пиджак...

В общественном собрании гудело как в улее. Окончена была постройка участка железной дороги. Инженеры, подрядчики, строители, студенты, техники, путей-

цы, поставщики — словом все, что строило железную дорогу, все это ликовало и веселилось, т. к. участок был закончен удачно и это были последние дни перед отъездом.

По вечерам гремела музыка, раздавались песни, шутки, смех. Все эти люди сжились между собою за долгий срок совместной работы, где каждый зависит от другого и поэтому успешный конец одинаково был радостен для всех.

В этот вечер был концерт. Она видела Казимира Станиславовича с гитарой в руках, слышала как он пел, но лишь Наталья Львовна понимала и знала, что Казимир поет для нее, как пел и в тенистых рощах на пикнике.

„Доброй ночи? Нет, друг мой, та ночь не добра,
Что велит от тебя идти прочь.
Ночь добра лишь для тех,
Кто любви своей рай может длить от зари до зари.
Доброй ночи ты мне на словах не желай,
Лучше добрую ночь подари!

Кто мог знать, что под черной шелковой блузкой, такой спокойной, суровой, — бьется сердце израненной птицей, а лицо спокойное, только бледнее обыкновенного и суровее сжаты темные брови-домики. Да ногти, впившиеся в ладонь, говорили чем живет сейчас душа. Какой ужас и боль от тоскливых мыслей, — кончит петь и уйдет прошлое с гитарой в картонном футляре, а он спрячет себя в футляр обязательных выражений, слов и лица... Гитара замолчала, рука осталась на последнем аккорде струн, словно прижав. Но зало снова настойчиво потребовало песен.

„Ты сегодня спросила с укором,
Отчего я при встрече молчу?
Так пойми, что пустым разговором
Я тревожить тебя не хочу.

А сказать все, что душу волнует
Горечь сердцу дает моему,
Все поведать тебе не могу я,
И сама знаешь ты почему.
Ты свободна, как ветер по степи
Мчишся к счастию жизни своей,
Я ж закован и тяжкие цепи
Золотые стальных тяжелей.

Не сорвать мне такие оковы,
Я безмолвно и мрачно грущу.
Вот зачем мои взгляды суровы,
Отчего я при встрече молчу"...

Брызнул, зазвенел последний аккорд. Она быстро встала, словно спеша убежать от себя, не видя никого, не глядя, но чувствуя вопросительные взгляды знакомых, быстро вышла на веранду, обойдя кругом, спустилась в тем-

ный сад, дошла до детской площадки, села на качели, и схватив крепко толстый жгут веревки, прижалась к влажным волокнам горячим лицом и зарыдала.

Искать всю жизнь и найти тогда, когда встреча безсмысленна — жалка. Опять ворованное счастье, опять его аппеляция к ее сердцу и опять „ все поведать тебе не могу я, и сама знаешь ты почему ".

Как же случилась такая поздняя встреча ? На этом концерте вышел конферансье и объявил, что по болезни артиста Н.Н. его заменит известный баритон, и он произнес какую то фамилию. Она скучно смотрела на сцену. Предыдущие номера, — балет ребятишек и пение молодой девицы. Затем дама с большим бюстом, задорно поводящая густо намазанными ресницами, — прошли мимо ее слуха и отклика. И от пропущенного мимо имени она не ждала ничего. Было жарко. Большие окна собрания открыты, но сад не давал прохлады. Дама разсеянно смотрела на сцену и не видела. Мысли, — ах эти мысли ! Может быть поздно начинать жизнь, да еще с чужим по крови, характеру, обычаем, человеком. Но и одиночество тоскливо. А согласие дано, обручение по русски. После завтра свадьба в русской церкви. Они уже близкие люди и свадьба лишь дань обществу, где мало дела до чувств людских и требование, что б были соблюдены конвенансы. Для общества будет соблюдена брачная церемония, и они будут прикреплены друг к другу.

Вот это и тревожило мозг. Пока любовь была не связана кольцами, — как то не думалось, кто он, человек, который стал ей близок в одну из тоскливых минут одиночества. Захочу, — уеду. И эта мысль давала ей возможность не замечать многое, что отталкивало ее от желания связать свою судьбу с ним. Но общество косилось и иногда неверное положение ставило острые углы. Словом после завтра свадьба и что бы разсеяться от сумбурных мыслей, прочтя в газете „ Концерт ", — пошла и услышав знакомые слова, подняла глаза на сцену и сердце замерло от радости. Но вихрем налетело, шквалом размело радость встречи.

Это — третья встреча.

А первая, — курорт. В маленькой будке на эстраде играет чудесный оркестр Затценгофера. Нарядное праздничное общество кругом. С утра ликующее солнце. Бархатная зелень, — отдых для глаз. Музыка. Она пережила первые восторги, быть молодой дамой, свободу, капризы исполняемые мужем без отказа. Она повелитель, она ласковая кошечка... позднее стала прохладная нежность.

Иногда и размолвки и муж совсем уже не „ рыцарь без страха и упрека ". Исполняет уже не каждый каприз, и часты отлучки душистыми лунными ночами. „ Был у приятеля ".

И вот встреча в библиотеке. Случайно встречная рука, протянутая за газетой на круглый стол, наткнулась на ея руку, улыбнулись, извинился, разговорились. Встреча у киоска и часто в цветнике там, где розы всех цветов сплетаются в яркую гирлянду. За поздними концертами, Казик и она так любят музыку. А чернявый красавец Затценгофер будоражил их сердца, своей изступленной музыкой.

Но муж заметил ее разсеянность, — узнал вероятно, что то из ее ночных прогулок. Дулся. Молчал и увез ее в Рим, Сорренто. Проплакала много ночей, уткнувшись в подушку, — жалея, зачем позволила увести себя, как вещь, как ребенка. Ведь так хорошо мечталось о Казике лунными летними ночами. Казик холост и счастье могло быть „ так близко, так возможно ".

Жизнь шла. Вторая встреча. Война. Все сосредоточенно собирались, кто врачем, кто солдатом, кто сестрой милосердия, открывали госпиталя, частные больницы. Все спокойное сверху, внутри бурлило и кипело. Она с приятельницей врачем открыли в Москве частный лазарет. Женщина врач работала не покладая рук, Ната давала деньги без конца, только лечи. оперируй, поправляй. Дело кипело.

Казик ранен тяжело, без памяти. Когда увидал знакомое, милое лицо склоненное над ним, — счастье, восторг. Быстро пошло дело на поправку. В руках опять гитара и опять — „ так пойми, что пустым разговором, я тревожить тебя не хочу... и сама ты поймешь, почему ".

Казик женат, — во время стоянки в каком то городишке женился на сиротке, дочери священника, а она свободна...

И вот третья встреча. В чужой стране, в чужом огромном холодном городе. Они снова вместе, — он на эстраде, — Он свободен, но она обручена. Завтра жена другого и снова „ и сама знаешь ты почему "...

Знаю, знала и знаю, и больше встречь не будет. И Казика и песен.

Вот почему веревки качели омочены горькими слезами и завтра, — завтра на свадьбу. Ни встречь, ни слез. И поезд умчит вдаль от всех и всего, к покою, молчанию и „ сама знаешь ты почему "...

# ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ ЛЮБОВНИК

Я помню его ясно. Высокий, широкоплечий, с горячими жадными губами. На мне было кисейное сиреневое платье, с массой крохотных оборочек, черная бархатная лента у пояса с длинными, длинными концами, маисовая шляпа с двумя ветками сирени, с падающими под их тяжестью, полями. Шляпа бросала тень на верхнюю часть лица, оттеняла брови и глаза, давая им легкую синеву. — Чудесно! Очаровательно! шептали кругом. Я была вне себя от радости.

Наша первая встреча с ним произошла около церкви. У меня закружилась голова и я вышла на воздух. Он заметил мою бледность, взял меня под руку, помог дойти до скамейки. Это было в цветущем монастырском саду. Цвели яблони и запах их одурял и кружил голову. Семь месяцев наша страстная, ни с чем не сравнимая любовь, не была ни разу омрачена. Мы встречались на его вилле неподалеку от яблоневого сада. Наши сердца сливались в одно. Его жадные губы искали моих, все с той же страстью. Но судьба нас швырнула в разные стороны.

Потом второй, третий, четвертый и так до девятнадцатого любовника не было ничего, что бы залегло в моей памяти. Были встречи, поцелуи, в той или иной обстановке, в более или менее поэтических странах.

Но вот этот девятнадцатый, сколько сил, здоровья стоила мне эта любовь. Сколько горьких слез, сколько мокрых подушек, безсонных ночей пережила я. Это был хрупкий, как фарфоровая статуэтка, блондин. Он красивой холеной рукой изящно отбрасывал прядь волос с высокого лба и рисовал, рисовал без конца. Он не был маринистом, он не нарисовал ни одной волны, но повсюду на берегах морей и океанов неизменно зарисовывал молодых красиво сложенных женщин, знакомился с ними и подносил им эти рисунки. И завязывался роман. Также начался и мой роман с ним...

Ах! Мы объездили с ним все курорты Франции, Испании, Италии. За нами путешествовали целые сундуки с рисунками голых женщин. Порою, на остановках, он извлекал их, устанавливал особенно интересных на креслах, камине, на ночном столике... Год три месяца длился нас сумасшедший роман. Я так надорвала силы свои, что пол года прожила в Швейцарии в горах, в санатории, спасшей меня от переутомления, т. к. все сцены ревности кончались клятвами, обещаниями и объятиями...

И опять ряд безцветных любовников, не оставивших следа. Но двадцать четвертый, его я встретила в цирке. Его я отняла у красивой наездницы, заставила бросить сцену и ехать со мной в Сан-Ремо. Это город слабогрудых, отвоевывающих жизнь. Он красив, этот цветущий, утопающий в розах, городок. Почему я приехала именно туда, не знаю! Как и раньше не знала какая судьба, какая страна, чья прихоть бросит меня, неизвестно куда и я принимала покорно, не протестуя.

Весь из мускулов и бицепсов он был хорош, мой Груби. Мы каждый день ходили слушать концерт. Как хорошо они играли, ученики консерватории, трудные вещи. Они кончали Консерваторию и приезжали в Сан-Ремо зарабатывать деньги на жизнь. Умирающий лебедь поет самые грустные песни. Так и они. Тяжким недугом надломленные, и чувствующие это, и цепляющиеся за обещание врача чудес, от этого дивного климата, роз и апельсинов. Профессор обещал, а душа в смычке рыдала о смерти.

Мы с Груби наслаждались нашим здоровьем, силой, возможностями. А эти бледные, тонкие лица с синевой под глазами были как контраст — только подливали масло в огонь страсти, сжигающей нас. Он поднимал меня одной рукой, как перышко, как забавную нарядную куклу, забрасывая на плечо, шутливо раскланиваясь перед несуществующей публикой вечером в аллее нашего сада.

Роман оборвался на полуслове. Мы еще не досказали всего, что могли сказать друг другу. Но обстоятельства заставили его вернуться к наезднице. Я закинув гордо голову, бросила ему „ Аддио ”, подкрепив ярко красной розой... Я рада была отдохнуть, забраться куда нибудь в глушь, в пустыню, пески, смотреть на караваны медленно бредущих верблюдов... Но чья то воля сделала мой отдых очень коротким, бросив меня в объятия дирижера оркестра. Это была его лебединая песня... моего тридцать второго любовника. Как она была красива, как крылья легкой бабочки, как лепесток чайной розы, как дуновение весеннего бриза. Кончилось лето. Начались уроки в Консерватории и кончилось для меня все...

И снова ряд безцветных лиц, входивших в мою жизнь, не стучась.

Но игра случая. Я хозяйка фермы, мой муж не молод неинтересен и мы влачим серенькое, никому не завидное, бытие. Я томлюсь. Кормлю уток, кур. Всю жажду любить отдаю появившимся на свет котятам, отогревая их своим дыханием, держа в горсточке крохотные, желтенькие комочки цыплят. Кормлю хлебом телят, лошадей, коров, изливая на них всю нежность. После заката солнца и

ранним утром, что бы не загореть и не испортить атлас кожи, я купалась. Пляжа не существовало, а просто муж наладил дело с грубыми камнями, выстлав плитами удобную дорожку. Он умел быть милым и заботливым, мой славный увалень муж и конечно, он заслуживал бы лучшей жены, чем я. Но так было предопределено...

Однажды я, сбросив одежду, если можно так назвать мой сиреневый капотик и соломенные туфли, вошла по плечи в теплую ласкающую воду. В этом месте было неглубоко и я переплыв короткое пространство, снова почувствовала землю. Там так густо шел орешник, переплетался шиповник весь в розовых лепестках с кустами жимолости, желтовато-розовой, что казалось — это джунгли. Непроходимые джунгли. Мне было весело. Я сбросила повязку с волос и тряхнула кудрями. Кто то сжал меня, сжал мою руку и рванул к себе. Ноги мои от неожиданности взлетели на воздух, оторвавшись от земли и я в первый момент с ужасом, позднее с любопытством, очутилась грудь с грудью с убийцей, так жутко показалась мне фигура и лицо медно-красного человека. Индеец? Откуда? Недалеко от фешенебельного курорта? В Европе, до Брюсселя рукой подать и вдруг индеец! Он смаху крепко до боли прижал мои губы. Синие глаза уперлись в мои и я чуть не заплакала, так сильно он прижал мой нос.

Сломает, обязательно сломает, — и я стала колотить его в грудь кулаками, отталкиваясь из всех сил и царапая его ногтями.

— Узнаю женщину, — восторженно кричал он. Наконец выпустил меня из рук. Только сейчас я подумала, как я раздета и все мое имущество на той стороне заливчика. Я одервенела от ужаса.

— Я отвернусь, — сказал он, не глядя на меня. — Вон там огромные лопухи. Пойдите, возьмите. Мы сядем и поговорим. Он указал рукой в пространство за кустами.

Ну нет, подумала я, глубже я не пойду. — Лучше лопухи принесите вы, а я обожду. Он пошел, а я бросилась к воде, быстро побежала, затем поплыла. Он не догонял.

Теперь, уже в великолепном купальном костюме, я стала часто посещать тот берег, но никогда больше его не встречала. Однако встреча эта крепко засела в моем мозгу. Я перестала интересоваться цыплятами, кошками, коровами и несомненно все мое пернатое и травоядное царство перемерло бы с голоду, если бы не муж, взявший помощника, здоровую девицу. А я томно вздыхала и плавала уже без надежды увидеть его.

Осень. В газете объявлен концерт. Мы едем в город. На мне великолепное платье, жемчуга. Я интересна, победоносно оглядываю публику, не очень шикарно и эффектно одетую. Вижу синие глаза смотрят в упор и голос говорит, тот же раскатистый голос, что был на острове в „ джунглях ” и те же глаза.

— Прошу, один тур вальса, — и поклон в сторону мужа. Он и не он. Глаза, голос, но где же эфиопская медная физиономия, борода, усы? Это выхоленный, капризный, самоуверенный дэнди с головы до ног. Он корсиканец. Архитектор с крупным именем, у него дача неподалеку от места куда я заплыла. Любовь наша протекала тайно от мужа, были редкие встречи, и решили из города, где общество от скуки занималось поисками и наблюдениями за жизнью каждого заметного человека, — перебраться возможно раньше на дачу. Там легче было встречаться. Ведя, как и раньше независимый образ жизни, плавая, как рыба, я могла каждый день видеть его. Мы вознаграждали себя за скупые ласки в городе, сторицей, на горизонте не было ни облачка. И вдруг коварный выстрел в спину. Я потеряла пылкого любовника, умного, тонкого. Осталась доживать век с мужем, чужим, ненужным, убийцей любимого.

Я должна была молчать, чтобы не опозорить себя признанием. И я молчала. Но вот, как то все открылось. Женщина, неведомая мне, любившая его, донесла и я осталась одна. Муж в тюрьме.

Это был мой пятьдесят восьмой любовник, оставивший след в моей душе.

Это событие прошло так быстро, так внезапно, что мне казалось будто с одной страницы моей жизни нежданно вихрем снесло все... Я застыла, превратилась в манекен, движимый механизмом. Мысль была погружена во мрак.

Тогда мне пришла в голову мысль, — ведь я могу пить. Первый раз в жизни, в тот день, я пила и узнала туманный хмель... Призрачность сладкую, встающую из него. Хмель ушел и оставалась горькая печаль... По немногу, незаметно втягивалась. Однажды в Пекине, (чужая воля забросила меня сюда) в Гранд Отель, где я жила, приехала семья, — муж, жена и мальчик лет пятнадцати. Она толстая огрубевшая женщина, пила с утра и к вечеру озлобленная англичанка придиралась ко всем. Лакеи за обедом отказывались служить ей, жалуясь управляющему на грубую брань... После обеда все обыкновенно шли в зало танцевать и там англичанка заставляла сына танцевать с нею. В отвратительном виде, огромной тушей, она еле передвигала ноги в танце, спотыкаясь и ме-

шая всем. Худенький, как тростинка мальчик еле держался на ногах, смущенный, с пламенеющим от стыда, за пьяную мать, лицом.

Мне стало жутко, — куда иду я? Я резко оборвала, так же, как буздумно начала отравлять себя алкоголем... Возвращаясь домой в Европу почувствовала свободу от тоски, пустоты, сознания никчемности жизни... Снова новые лица, танцы, музыка, вечный праздник, не давали задумываться, и уйти от общего веселья было некуда. Оно разливалось по всем палубам океанского гиганта.

За столом капитана, со мною рядом, сидел жгучий брюнет. Движения резки, самоуверенны и вкрадчивы. Танго он танцевал так красиво, что все остальные пары замирали и только он со мной плавно двигался в голубом затемненном свете.

Истосковалась ли я по ласке, нежности, страстные ли мелодии танго, рвущие сердце и манящие и волнующие, — не знаю. Но я ответила ему ДА, когда во время танца он спросил — может ли зайти ко мне... Он вошел в странном восточном одеянии и принес тончайшие наркотики. Это было время взлетов и падений.

Прошла сумасшедшая зима. Я боялась смотреть на себя в зеркало. Оттуда выглядывало лицо совершенно чужое, даже страшное... Скомканное, исхудавшее. Во время взлетов горящие безумием глаза. Тяжкие волны били в мозгу. Сердце источало кровь. Со страшной силой в видениях проходило влияние наркоза, будто черную сетку накидывали на меня, душили и стягивали и хотелось кричать, кричать криком отчаяния и безнадежности. Огромной силой воли я отказалась от встреч с ним и сдавила малодушие, заставлявшее жить призрачной жизнью. Эта встреча загнала меня в тупик. А другая встреча помогла уйти. По роду службы он должен был вернуться на Восток и никакие протесты с моей стороны не могли изменить его решения. Вместе приехать и быть в одном городе было невозможно. Я осталась в Киото. Киото, отель такой тихий, патриархальный, почти монастырь по складу жизни, нельзя лучше подходил к моим истерзанным нервам.

За утренним завтраком, на чудесной веранде повитой глициниями и жасмином, дышалось так легко и так чист и прекрасен был воздух, синее небо, что казалось ничто смрадное, нечистое не может придти в этот тихий уголок. Рядом с моим столиком, несколько позднее меня устраивались, долго пересаживаясь, две дамы.

Высокая энергичная брюнетка просто одетая, волосы прикручены толстым жгутом, размашисто подходила к столу и шумно садилась. Голубоглазая, пепельная

блондинка, такая хрупкая, нежная, безшумно скользнув, опускалась на стул. ,

— „ Солнце в глаза ". — Садись на мое место. Через минуту. — „ Тут сквозняк ". — Садись сюда... „ Этот стул страшно неудобный ". — Возьми мой... Голосок робкий, ангельский, а все не так.

Часто я слышала, как брюнетка уговаривала, иногда с угрозой в голосе, с гневом, а навстречу ей нежный голосок молил, просил, плакал. Я начинала ненавидеть эту грубую женщину, истязающую беззащитное существо.

Однажды я читала в дальнем углу сада. Заливались цикады и такая была тишина, что листок падал, и было слышно. Вдруг появилась брюнетка, грохнулась на скамейку и прямо обращаясь ко мне выпалила.

— Слушайте, вот вам мой адрес, если у меня будет разрыв сердца, телеграфируйте мужу. Я бо-о-льше не мо-о-о-гу. Убейте меня, я больше не могу.

Я с изумлением и интересом слушала ее. Я шутливо согласилась, но тотчас спросила, — о чем и что я должна сообщить. И тут послышался целый каскад жалоб на эфирное существо. Хотелось ли ей излить всю горечь, или в кое чем оправдать себя, но почувствовалась какая то неискренность, и я сделала выводы.

По словам этой женщины блондинка оказалась морфинисткой, наркотоманкой, которая не дает ей спать, бродит по ночам и может устроить пожар. Все тело у блондинки изуродовано уколами и в синяках. Но, чем больше она старалась принизить ее, заставляло меня все глубже жалеть это худенькое измученное существо.

— Вы ее давно знаете?

— Нет, — она как то смутилась, — но все же больше года. Ее муж моряк погиб и вот она стала после этого наркотоманкой .

В силу привычки все анализировать, что мне говорят, и на этот раз заставило меня задуматься над словами дамы. Но все более и более спотыкаясь, она очевидно была недовольна, начав этот разговор.

— Сегодня ночью она уронила лампу и мог быть пожар в отеле. Я вскочила, все исправила, уложила ее спать... и она долго и много говорила, чтобы сгладить впечатление. — Не обращайте внимание на мои слова, я просто раздражена, не придавайте им значение, — закончила она.

Я не стала настаивать на продолжении разговора, хотя любопытство брало свое. На другое утро встретила на веранде больную. Я увидела в ней маленькую обиженную птичку и как птичке я бросила зернышко

из далека, затем ближе, еще поближе и приручив, — мы сошлись уже настолько, что она, не ожидая брюнетки, присела со мной завтракать.

Сначала она стояла, как будто бы проходя, потом присела на кончик стула, а затем просто уселась. Я приказала подать ей такой же завтрак как и для себя, и она, не замечая, с большим аппетитом все съела без всяких капризов, а попутно и разсказала кое что. Муж оставил маленькие средства, меха, камни. И я почувствовала, что не так уж безкорыстны заботы той дамы. Чем же она так ее раздражает, что у той готово „ разорваться сердце " ? В это время пришла эта дама.

— Куда вы исчезли, Мила, и почему вы вообще выходите одна в столовую?

Та изумленно подняла глаза. — Почему я не могу одна войти в столовую?

Я тоже подняла глаза с изумлением,— но ведь она уже взрослая. И я не молодой человек, что бы могла принести какой либо вред моей беседой.

— Я очень жалею, что я вам разсказала, может быть несколько необдуманно...

— Да нет, нет, мы прекрасно будем встречаться все вместе. Не оберегайте так тщательно от меня вашу питомицу...

Я должна была уже уезжать из Киото и заказала рикшу, и была изумлена, когда вечером, уже ложась спать, услышала стук в окно. Перед окном стояла Мила.

— Вы не могли бы взять меня с собой?

— Куда?

— Все равно, — уехать отсюда и когда я вам очень надоем, оставьте меня в любом месте.

Мне хотелось спросить ее, — а как насчет наркотиков, — но не решилась.

— Как вы сможете уехать? Вас отпустят?

— Ничего не говорите никому. Уезжайте затра утром, как вы собирались уехать. Никому не говорите, что видели меня.

Утром я доехала до вокзала никого не встретив. — Должно быть раздумала, — села в поезд. И поезд уже трогался, когда увидела белокурую головку вскочившую в последний вагон, но и в вагон Мила ко мне не вошла. Мы приехали в Нагасаки и я должна была сесть на пароход. Напрасно искала ее глазами, белокурой головки не было.

В два часа дня я погрузилась на пароход, а за обедом около меня появилась Мила.

— Где вы скрывались? вскрикнула я изумленно.

— Вы разве недовольны мною? спросила она.

Я искала хоть какого либо признака ненормальности, — ничего не заметила и мы поплыли вдаль. Куда? Не все ли равно куда...

***

Кабриолет тихо шуршал по гравию и желтому песку.

— Куда же теперь, Мила?

— Разве я знаю. Вы моя звезда путеводная.

— Как смеялись бы наши американские друзья, глядя на лошадку и кабриолет. Двенадцать верст в час и через три часа отдых... Корми, отдыхай. А у них заправил кишку в машину, накачал газолину и несись, как безумный, не видя ни красот, ни закатов, ни восходов. И подумать, что этими бешенными темпами мимо жизни неслась я, — ваша путеводная звезда. Какое это было страшное время! Вся жизнь — экран. Для него красота, молодость, быть еще красивее, еще стройнее, тоньше. Пища комара, соки, гимнастика, тренировка, — ну, словом, все для экрана. Не помнить в кого был „влюблен" вчера. Сегодня суют новую роль, благо ты любишь дело, увлекаешься, играешь уже через силу. Измазанные до ужаса лица, — не замечаешь. Горишь, целуешся, обнимаешь и пользуясь твоим увлечением, работой, подсовывают тебе роль за ролью. Мила, я так устала, что вот сейчас останься я нищей и пришлось бы идти работать, взяла бы любую работу, но не позволила бы себе терзаться. А какая опустошенность, словно вся жизнь разорвана в клочья. Небо, воздух, природа, — все под яркими фонарями. Все лживо, фальшиво, как поддельные бриллианты. Не знаю, поймете ли вы меня?

— В своих горько-соленых стихах Вертинский писал, — помню обрывками. Мы все очень на него сердились.

„Измельчал современный мужчина,
Стал до ужаса скучен и пресен.
А герой подвизается в кино,
И рецепт его точно известен.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

Вам противны красивые морды,
Надоели они на экране.
И для вас все лакеи и лорды
Перепутались в кино тумане.
. . . . . . . . . . .

А герой ваших дней Квазимодо.
Боже мой! О как стыдно, как страшно
Полюбить неживого урода..."

— Мы страшно злились на эти стихи, но они впивались в память хоть обрывками. Ну, вот, теперь я убежала и спряталась. Меня ищут продусеры фильм. Ведь

они безпощадны. Заготовлены ими десятки ролей. Кино — это Молох. Он раздавит тебя без жалости и высосет все силы, бросит как мусор... Хорошо еще, если не прошвыряла все деньги, заработанные каторжным трудом, на необходимый шик и блеск. А то больной, усталый, будешь доживать в безвестности. Вот, дорогая моя Мила, не рвитесь никогда в этот зыбкий и призрачный мир...

— Если бы вы знали как мне хочется по настоящему полюбить, без того, чтобы мне приказали оборвать поцелуй через пять минут, что бы щелкнувшая деревяшка не заставила меня броситься в объятия любимого, по приказу, человека, что бы остаться с любимым человеком без посторонних зрителей...

Мила слушала и жалела своего случайного друга, сама вырвавшись из цепких лап брюнетки, одураченной и тщетно искавшей беглянку. Мила не покидала артистку, ужасалась, слушая разсказы, что приходится переживать артистам, — и тонуть, и падать, и больно ушибаться. И „ любить " ненавистного партнера, — за день не перечтешь всех случайностей... Но теперь, оне обе беглянки и докатились до Варнемюндэ. Купили себе нарядные крестьянские платья и разсматривали прелестный маленький городок. Поселились в небольшой гостиннице и радовались как дети...

***

Олаф решил лето провести в Варнемюндэ. Этот городок напоминал скорее богатую большую деревню. Окна нарядных домиков, прорезанные ставни сердечками, звездочками, квадратиками, лунными звездными ночами бросали на начищенный до лоска пол, причудливые узоры. Весь уклад жизни простой, наивный, по детски чистый, пленил его... А море вечно влекущее его своими грозными порывами, могучими манило и вспоминая „ Кольцо Нибелунгов ", он часами мог сидеть, смотреть на валы, поглощающие один другого. Вот громыхнул один и разлился по прибрежному песку мелкой рябью и стал откатываться назад. На него, как бы играя в чехарду, накатил новый, огромный, покрыл его, промчался глубже на песок, скалы, ударился, рассыпался и замер, как обезсиленный гигант.

Олаф и сам был подстать морю. Высокий, могучий блондин с ясными северными глазами. Он окончил Художественную Академию и как один из талантливейших учеников, был награжден и имел задание, к конкурсу, осенью дать картину, портрет, пейзаж, орнаменты. Словом все, что угодно. Удачно выполненное задание давало

право остаться при Академии и много других преимуществ.

Олаф искал сюжет для картины. Она уже рисовалась в его мозгу. Перед глазами маячило море, но как дать ему жизнь? Прибой волн — банально. Силы еще не хватает, что бы море ожило. Он видел картины русского художника Айвазовского и по сравнении с другими знаменитыми маринистами, Олаф ощутил тонкость кисти, отблеск ночи, ярость серебряных брызг, оставшихся на скале и обиженно стекающих по красноватым оточенным бокам скалы. Эти капли теперь стыдились своего ничтожества, посягнувшие на титана.

Однажды, плотно поев за утренним завтраком, набросив на могучие плечи синюю блузу, подставляя мощную грудь и волну белокурых кудрей буйному ветру, Олаф, прихватив мольберт и краски, отправился к морю. Ему не хотелось садиться сразу рисовать.

В Варнемюнде от станции железной дороги сбегает длинный мол широкой платформой к самому морю. Во время волнений море накатывает на этот мол и доходит до самой станции.

После полудня было тихо. Олаф шагал все дальше и глубже и войдя по колено в воду, стал бросать камешки все дальше и дальше и вдруг услышал недалеко от себя мелодичный голос.

— Вы как ребенок забавляетесь камешками.

Он оглянулся, густо покраснел, смутился, увидя интересную женщину. Но просто сказал, — да он и не умел говорить иначе.

— Я часто прихожу сюда и мечтаю, бросая камешки и стараюсь забросить как можно дальше, и мне это кажется, что я приближаюсь к дому.

В это время он уже вышел из воды босыми ногами, в коротких штанах по колено, — он действительно походил на большого ребенка.

— А разве сами вы не можете поехать ?

— Нет, пока не напишу картину.

Он почувствовал к ней такое доверие, что признался, он должен был бы уже представить картину, а он еще и не принимался.

— Хотите я вам помогу?

Олаф с удивлением посмотрел на нее. На ней было простое крестьянское платье с большими желтыми цветами и по крестьянски повязан платок. Она была красива такой простой народной красотой.

Увидя его вопросительно-изумленный взгляд, она повторила.

— Да, да, я вам помогу. Нужно только выбрать сюжет. Самое главное наметить себе путь.

Он поверил. Они стали встречаться. И сама того не замечая, она увлекалась Олафом все больше и больше.

И это подметила Мила. Однажды утром за завтраком Мила восторженно объявила подруге.

— Кажется я напала на след моего мужа. Я еду. Может быть хочешь, поедем вместе?

Она покраснела и смущенно ответила.

— Я обожду тебя здесь...

Сюжет был взят „Раннее утро”. Гармония красок словно сама давалась в руки. От того ли, что ему улыбалось небо, от того ли, что улыбалась она и он был счастлив, но краски сами ложились покорно.

Он рисовал, а она смотрела на его кудрявую голову, плечи, мускулы, движения полные гармонии. Как хотелось бы отдохнуть, прижав голову к его плечу, тихо не шевелясь! Если бы знать, есть ли в нем хоть капля чувства, — все равно какого ко мне. И тоска о прошлой, потерянной на чужое выдуманное чувство, молодости, соженной, — пугала ее. Куда иду? Ведь это мальчик, ребенок и куда заведу его?

— Олаф, вы любили кого нибудь? Ну, подругу сестры, ученицу вашей школы, ну, словом, ваше сердце билось для кого нибудь сильнее обычного? Вы хотели кого нибудь видеть чаще, чем обычно ? Вам было неприятно, когда „она” была с другим? забросала вопросами, словно, боясь, что она замолчит, не смея или боясь прервать себя.

Олаф положил кисть.

— Да, очень любил. — Глаза ее широко раскрылись от изумления. — Может быть вы видели картину в синематографе „Разбитое сердце”? Да? Так вот, там играла артистка. Я целую неделю ходил каждый день, а иногда просиживал, не уходя из театра, смотря несколько раз. Я не спал ночи, ревновал. Хотел ехать в Америку, но никто не знал, где она. Узнавал, но мне сказали, что никто и никогда не скажет об артисте кино, где он. Их всегда скрывают. Я следил внимательно и как только появлялась кортина с нею, — я опять пропадал в синема. Так я прожил с нею целый ряд картин, как будто все ее жизни. Ревновал, плакал, сходил съума. Вы изумлены ? Да ? И вот решил. Я добьюсь, получу премию, деньги, поеду ее искать. Какие сумасшедшие ночи переживал я. И я рисовал, добивался скорее скорее ехать... Но заболел отец, уехать не удалось. Но благодаря желанию увидеть ее, быть с нею, я получил награду, деньги... И вдруг словно смыло морем. Когда смог

поехать, я понял... что я никогда не смогу любить женщину, любившую десятки мужчин, целовавшую десятки, сотни мужчин, — и я выбросил из головы этот бред. Но сердце, правда, было обожжено, словно крапивой, неприятный ожог. Вот и все... Но я ей благодарен за успехи мои...

Женщина сидела закрыв лицо руками плотно, а ладони ее были мокры от слез. Он смотрел на нее, — глаза и мысли были далеки.

— Неужели ты думаешь, что актриса в синема любила всех тех, с кем играла роли не сцене ? Неужели ты думаешь, мой глупый мальчик, что ее любовь не может быть настоящей, что она всегда лжет ? Что уйдя из объятий одного в объятия другого, она опять любит ? Но ведь это театр, дитя. Пойми, что сердце никогда не принадлежит актеру, ведущему с ней роль.

Он повернул к ней голову, — как ты сейчас похожа на ту актрису, — и голос твой. Как ты похожа в пьесе „ За закрытыми окнами ". Да это ты ! Да это ты !

— Да, да, я, я, я ! Я люблю тебя. Я хочу быть около тебя. Я буду помогать тебе, работать. Ловить твою улыбку. Оставаться всегда с тобой. Я люблю тебя. Я ничего не требую от тебя. Я прошу только быть около тебя. Ты будешь свободен, — не уходи !

— Молчи, — тихо сказал он, поднимаясь. Она подняла глаза полные слез и подбородок ее задрожал.

— Вот, вот так же дрожал подбородок, когда ты играла в „ Зарницах ", и он быстро ушел...

Она шатаясь пошла за ним вслед, быстро, потом медленнее, еще медленнее, словно во сне, не замечая слез, застилающих глаза, спотыкаясь.

— Мальчишка, злой мальчишка. Приговор, — он судья, щенок, ничего не понявший. Споткнулась, упала на влажную кочку, с тихо застывшей мыслью. — ушел ! Проходила до сумерек, не помня где и пошла домой. Увидела на балконе силуэт, за кисейной занавеской.

— Олаф, любимый, дорогой, мальчик мой ! Сердце забилось, всполохнулось птицей, дыхание не перевести. Рванула дверь...

— О, май дарлинг ! Наконец то я нашел вас. Сколько денег побросал я на поиски. Ну что за глупая комедия... он не докончил. Она как тигрица бросилась на него, —

— Вон, вон, как смели вы искать меня ! влезать в мою жизнь ! Вы отравили мою жизнь , убив то огромное, на что имеет право каждая женщина, — на любовь ! Не каррикатуру любви, а чувство... Вон... и она била его в грудь, плечи. Он еле увертывал лицо, подставляя

бычью шею. Обезсиленная, упала на ковер...

Доктор. Тишина. Синяя занавеска тихо колеблется от морского ветерка...

Утро. Встала, Пошла на станцию. Он не рисовал. Узнала, — он спрашивал о пароходах. Собирается значит уезжать. Его не видела. Пришел господин Освальд.

— Чудная, милая, сумасшедшая, посмотрите, как разрисовали всю шею, лицо все исцарапано, тигрица! Я привез вам сумасшедшую роль, — все лопнут от зависти. Какие сцены? Какие туалеты, меха, камни. Сам Гарри Нью ваш партнер!

Она лежала в глубоком обмороке. Опять вечер. Тишина. Мистер Освальд не уходил и снова говорил, говорил. Она больше его не била. В обморок не падала. Слушала молча, не отвечая... Как будто в комнате никого не было, а просто жужжала назойливая муха, шмель.

В шесть часов вечера шла на берег. Там стоял Олаф и смотрел вдаль. Но лишь она делала движение к нему, он быстро уходил.

На Копенгаген уходил пароход. На борту стоял Олаф. Она, сцепив руки до крови, смотрела вслед. Скрылся силуэт вдали. Она вернулась. Мистер Освальд стоял на террасе.

— Ваши вещи уже в автомобиле. Не сердитесь, так лучше для вас.

Стиснув зубы, она молча, медленно вошла в автомобиль, который покатил ее к новому шестьдесят седьмому „ любовнику ”.

## БАБЬЕ ЛЕТО

Стояло чудесное „ Бабье лето ”. Говорят такое было 58 лет тому назад. Может и врут! Но кто запомнит, что было 58 лет тому назад! Столько наросло, наслоилось, затуманило то „ Бабье лето ”, что у самых памятливых наверное, как в дымке, обрывками, а скорее всего мечтанием можно назвать эти воспоминания.

Но все равно, поверим, что те, кто говорят, действительно помнят то лето. Может быть оно оставило такой глубокий шрам радости, боли, разачарований, восторгов, что действительно то лето помнится лучше, чем „ вчера ”, прошедшее безцветно, ничем не отмеченное, холодное и одинокое.

Итак „ Бабье лето ” расцвело во всей красе. Огненно-золотое заклубилось оно гирляндами, многоцветными кущами, как прихотливые краски византийских одежд.

Лес багряный сливается с закатом, — да, это „Бабье лето", последние горящие знойным огнем, умирающие дни.

И вот в такой день он зашел к своей приятельнице, хорошему верному другу. Застал он ее за письменным столом, сидящей как то боком, на ручке кресла и быстро пишущей. Перо металось вверх, вниз без устали. На его приветствие она что то отрывисто бросила. Он не понял, переспросил, — не ответила. В комнате хаос, на диване белое манто, швырнуто воротником на ковер. Поднял, поднял и исписанные, слава Богу, перенумерованные листы с полу, собрал. Два ящика стола открыты, — вот почему сидит боком на ручке кресла, ящики сесть нормально не пускают. Ворох писем, газет, журналов из разных стран еще не разобранных, грудой лежали на столе. Он повертел их в руках, позавидовал, — вот вскроет, прочтет чьи то мысли, чувства. Швейцария, Италия, Буэнос-Айрес, Канада, Испания, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Мюнхен, Париж. Может быть там иные люди, иные чувства, думы, желания... Она вот узнает, а я нет, подумал он. Мне оттуда написать некому и туда сказать о себе что нибудь, тоже некому... Но не буду завидовать, она работает и работает хорошо и много...

Уже спустились сумерки, когда она, наконец, бросила перо и протянула руку.

— Ну, теперь привет вам, мой дорогой. Спасибо, что завернули. Оторвете от работы и я отдохну.

— Что пишете сейчас?

— Так, пустячки. О котах. Вообще о животных, о зверьках.

— Что так? Брэм не дает спать, устраиваете конкуренцию?

Она вздохнула. — Нет, голуба. Брэм вне конкуренции. А так, голову очистить захотелось от мыслей скорбных.

— Это вы то и скорбные мысли? У вас их быть не может, уж слишком много в вас жизни. А где жизнь, там скорбь не задержится. Вот у меня, действительно, что то не клеется.

Она внимательно посмотрела на него. Он побледнел, как то посерел, словно стал меньше ростом.

— А с вами, действительно, что то творится, и шутливо добавила, — может быть также переживаете „Бабье лето", последние знойные дни, часы, минуты? Но как будто бы для мужчин предела нет, а иначе и им отвели бы и узаконили краткие осенние дни в по-

золоте. А шутки в сторону, что с вами в самом деле, чего вам не хватает?

Он безнадежно развел руками.

— Да я и сам не понимаю... и вдруг словно оживившись повернулся к ней. — Вы могли бы написать что нибудь, так вот, просто, сейчас, на заданную тему?

— Думаю могла бы. А что вы хотите, что б я вам написала?

— Об одиноком человеке.

Она взяла свой широкий блок-нот подумала и кривым летящим почерком стала мотаться рука ее по белому листу...

„...Ипполит Петрович взял серебряный подстаканник сильно сжав худыми цепкими пальцами. Чай остыл, он с жадностью большими глотками прикончил и с пустым стаканом стоял недвижно у окна. С четвертого этажа парижского отеля „Бель-вю" он видел внизу раскинувшуюся на площади ярмарку. Она продолжается обычно неделю-две. Если бы продолжалась месяц, то все жители домов около площади превратились бы в душевно больных.

Нельзя себе представить что либо более звенящее, воющее, свистящее, вонзающееся в уши, во все поры человека, как французская ярмарка. Человека нервного, доводящая до скрежета зубовнаго. Карусели лодки, горы, медведи, козы, мартышки и звон, и стон, и вопли, — но Ипполит Петрович стоял недвижно над самой ярмаркой с серебряным подстаканником в руке, ничего не видя и не слыша, — он ушел в прошлое.

...Вот письмо от Саши. „Дорогой дядя Поля. Может быть вы забыли меня, а я хотела бы вам напомнить о себе. Помните в Сербии, у Марии Кириловны, вы встретили меня и сказали, что я лучшие ваши дни, что со мною в вашу мрачную жизнь, в вашу мрачную комнату вошел луч света, этот луч — ваше прошлое. Вы сказали, что любили мою тетю, а я похожа на нее, как две капли воды и вы часто заходили к Марии Кириловне, откровенно говоря, что пришли полюбоваться на меня. Вы всегда приносили что нибудь вкусное к чаю. Ведь Мария Кириловна была бедна, я для нее была обуза, но слово, данное маме моей перед смертью приютить меня, она держала крепко и делилась со мной последним куском. Марии Кириловны больше нет. Я уже не подросток, а самостоятельно работающий человек. Я одна и мне очень хотелось бы жить там, где есть близкий человек. Если в вашей жизни ничего не изме-

нилось и вы одни, и по прежнему память о тете Лизе вам дорога, возьмите меня в Париж. Я так устала быть одной. ”

Ипполит Петрович вспомнил, как он бегал по префектурам, по полицейским участкам и прочим учреждениям, хлопотал, подписывал, убеждал... Наконец бумаги получены, деньги взяты из сберегательной кассы на билет и прочие расходы, все отослано, но... Самое большое НО.

Ипполит Петрович был в Петербурге известный врач. У него было несколько кабинетов, полно пациентов. Он признанный знаменитый хирург, но заграница российским дипломам не верит. В Париже держи экзамен на французском языке. Ну где же человеку пожилому, усталому обучаться „парле франсэ ”, да еще с медицинским экзаменом. По старой памяти русские помнящие его, ходили к нему, и на огонек посидеть и подлечиться. Но и сами больные были бедны и чаще он покупал им лекарства сам, чем получал гонорар. За то пациенты, когда пекли пироги и куличи, несли ему отблагодарить его. Скопы у него были небольшие и выписка Саши больше чем уполовинила их.

Жил он в старом барском доме с затейливыми колонками, повитым плющем и розами. Когда то этот дом, белый с зеленым, стал грязно серый. Акации, кругом, закрыли окна. Дом был большой, прекрасно обставленный внутри стариной дорогой мебелью. Но все потускнело, в доме никто не жил. Ипполит Петрович занимал четыре комнаты анфиладой, вроде широкого большого корридора тянулись оне, как бы предверие, вход в дом. Комнаты были обставлены также стариной мебелью, ковры, старинные бра по стенам были прекрасны, когда-то освещали веселые пирушки, балы, вечера, обеды, а сейчас — сейчас половицы, покрытые коврами, опускались под ногами, как клавиши рояля. Пахло затхлым, мышами.

Единственное достоинство, — дом в саду, тишина и что то тонкое, неуловимое, барственное было в этом старом доме. Но поймет ли это Саша?

Шум города не долетал в этот запущенный сад. Царила тишина, пели птицы, пчелы жужжали, шумели, перешептываясь листья деревьев и он любил эту тишину. Он привык к ней и благодарил судьбу, что старый приятель уезжая, отдал ему четыре комнаты безплатно. Готовил он себе сам и пациенты часто приходили посидеть в тени лип и акаций, выпить чайку, поговорить и потолковать о старине с Ипполитом Петровичем...

Рано утром, приехав на вокзал, он встретил Сашу. И едва ли даже узнал бы ее, если бы она не бросилась сама ему на шею. Волосы она перекрасила в рыжий цвет, выщипала брови по модному, сделала сиреневый цвет лица модной пудрой и стала очень мало похожа на Лизаньку.

Квартира ей не понравилась.

— Да тут людей не видно, никто не пройдет ни проедет, какая же тут жизнь ? И она швырялась на кухне, гремя посудой, тарелками, вечно недовольная. И в один прекрасный день объявила, что они переезжают. Она нашла миленькую квартирку. Она привела его в гостиницу на большой площади, на четвертом этаже. Это была большая светлая комната со спальней и крохотной кухней. Брезгливо осмотрел он тюфяки на кроватях и подумал, — для Саши приношу я эту жертву.

И действительно жертва была не малая, — за гостинницу пришлось платить. Ну, чего бы он ни сделал в память любимой Лизаньки. Разве для Лизы он не принес бы какую угодно жертву. Боже мой, конечно, да!

Сашенька с утра до вечера висела на окне, глядя на шумную площадь. Та же площадь своим шумом, телегами с грузом, ломовиками, ругательствами возчиков, воплями ребят, носящихся по площади, оттолкнули старых пациентов от доктора, а здешние, новые заходили редко, и рессурсы его таяли. Сашенька охотно ходила в лавки, кое что готовила. Купила доктору серебряный подстаканник и соломенную шляпу, — в старой с ним ходить гулять было стыдно. Она часто уходила на прогулку, пропадала по долгу. Иногда возвращалась довольная, счастливая, напевала из оперетки „ Король веселится ”. Говорила Ипполиту Петровичу хорошие ласковые слова. А иногда возвращалась злая, капризная и молча уходила в свою комнату.

Когда она долго не возвращалась, — молодость, грустно думал Ипполит Петрович, загулялась.

Когда она была в хорошем настроении, она часто ласково прижималась к его плечу и он чувствовал себя счастливым.

А если я предложу ей выйти за меня? Она одинока, я одинок. Он поглаживал при этом свою седую бородку клинушком и находил естественным такое завершение его филантропического порыва. Сейчас Сашенька делает траты не по средствам, сама не работает, сказать ей об этом он смущается, намеков она не понимает. А как жене, он сможет сказать яснее, откровеннее, что таких

трат, какие требует Сашенька, он делать не может. Уже продан золотой портсигар, золотые запонки, золотой университетский значек и множество научных драгоценных книг ушли к букинистам на набережную Сены. Он намекал Сашеньке, что лучше переехать в старый дом, объясняя, что это квартира безплатно, но Сашенька, зажав уши руками завопила, — фу, какая гадость, ни за что, — и он замолчал.

И вот однажды, взяв ее обе руки в свои, смущенно и заикаясь, он робко сказал ей о своем желании обвенчаться. Сашенька немножко смутилась, покраснела и убежала. Он принял это за согласие и долго не спал вечером, куря папиросу за папиросой, мечтая о выпавшем на его долю счастьи.

А утром он нашел на кухонном столе записку. „ Дорогой Ипполит Петрович! Я ухожу, ухожу совсем. Признаюсь вам, что я солгала, просясь в Париж. Туда уехал, пока не муж, любимый человек. По безденежью взять меня с собой он не мог. Да и паспорт нужен был, что бы поехать во Францию. Письма от него сначала были частые, потом реже и я в отчаянии потерять его, писала вам, расчитывая на ваше доброе сердце. Не сердитесь, я ушла к нему. Вы добрый, поймете. Конечно вы не знали этого, привязались ко мне, полюбили меня. Еще раз простите. Но я и сама очень, очень несчастна ”.

Стакан с подстаканником загремел, катясь по полу. Ипполит Иванович пережил свое последнее „ Бабье лето ” в этот тихий предвечерний час, крепко зажав рукой застонавшее сердце. ”...

Она встала.

— 42 минуты писала, — сказала она, взглянув на часики. — Знаки препинания и описки найдете, исправьте сами, — улыбнулась она, — а я пойду на кухню что нибудь приготовить закусить.

Она протянула ему листки и пошла на кухню. Он стоял у окна, сутулая спина резко выделялась при свете фонарей и читал...

— Ну теперь не плохо и закусить, чем Бог послал.

Она ласково положила руку на плечо. Он снял руку, поцеловал и грустно улыбаясь, сказал:

— Да-а, это вы замечательно... Правда нет Сашеньки, нет волшебного павильона в тенистом саду. Нет гостинницы с доводящей до бешенства вопящей площадью и ярмочным гамом, но ваш Ипполит Петрович стал моим другом и я чувствую, что я теперь не так уж одинок.

# „ПО ЧЕРНЫМ КЛАВИШАМ"

(Вальс Сивачева)

С утра валил снег. В окно выглядывали с любопытством и волнением глаза карие, синие, серые, черные... А снег идет.

Ах, Боже мой ! Неужели до вечера не перестанет ? Перестал к шести часам и небо засинело ледяной темной синевой. Красиво !

На темно-красном каменном фронтоне собрания соблазнительно золотом разливались буквы маня, обещая, — МАСКАРАД.

Ах, эти маскарады ! Что может быть прекраснее, веселее. Рождество, Масляница вплоть до Великого Поста молодежи раздолье. Какая фантазия изобретательности, остроумие, шутки, — все к месту, кстати !

К 9-ти безпрерывно подкатывали к подъезду одиночки, пары, лихачи, собственные допотопные и стиль модерн, экипажи. Выпархивали силуэты, закутанные в накидки, шубы, ротонды, и по холщовому корридору от тротуара, до ярко освещенного подъезда, быстро проходили, освобождаясь на ходу от теплых одежд, маски. Все спешили туда, где уже лились звуки задорного марша, пока лишь для услаждения съезжающихся.

Но вдруг, на одно мгновение, музыка умолкла. Распорядитель махнул белой перчаткой и полились звуки чарующего, модного вальса „ По черным клавишам " Сивачева. И как по мановению волшебного жезла все зашевелилось, заволновалось, смешалось и закружилось в вальсе.

Слушаешь, и видишь, и чувствуешь. Наши старые балы маскарады, — все рвется, мчится, летит. Все мгновение, шутка. Разве поймешь правду в шутовском костюме Арлекина ?

— „ Лизанька, пойми, ведь это мука ! Только на этих балах, под маской, могу я держать подолгу твою ручку. Поговорить с тобой, смотреть до самозабвения в узкий прорез бархатных глаз, чувствовать тебя в вальсе, слышать ласковый, нежный голос. А потом думать и верить, что рано или поздно твой отец поймет, что бедность не порок. Не потребует же он, что бы я шел грабить на большую дорогу и взламывать банки из любви к тебе. Мы проживем и на мое жалованье. Мы молоды ! "

Лизанька жмется к Арлекину на маскараде, — а в жизни — молодому поручику Коше Черниченко. Под белым гипсом не видно черненьких милых усиков, губы,

ласковые губы замазаны лаком в глупую горькую ухмылку Паяца. Но Лизанька знает каждый уголок лица... И бьются два горячих сердца, ища выхода, как смягчить отца...

Ах, вальс Сивачева ! Он чарует, он колдует, он увлекает...

Вот итальянский Лаццароне в живописных лохмотьях, подчеркивающих статную высокую фигуру, дырявой широкополой шляпой, как баобабом, заслоняет черное кружевное домино от назойливых взглядов...

„ Муж здесь ! Не беда. Эта шляпа, как лопух. Изумрудные глаза дамы в прорезах бархатной маски хороши, лукавы, капризны.

— Зинаида Михайловна, пора кончать эту игру. Вы мужа не любите, детей нет, и это самое главное. Он не любит вас и бродит по кафе-шантанам. Змейка злая сверкнула в зеленых глазах, — за это он мне заплатит, пронеслась мысль. — идем, слышите вальс, — он мчит, несет, будит самые глубокие, уснувшие или притушенные чувства. И бандитская шляпа, прижав кружевное домино, мчится в вихре вальса...

— Апполон Петрович, вы пришли сюда со мной, надеюсь не для того, чтобы разглядывать чужие маски.

— Но, Дарья Михайловна, на то и маскарад, чтобы любоваться масками, то есть костюмами, — поправился Апполон Петрович, крякнув, чувствуя неловкость... — Вот, например, интересная маска — газета. Смотрите какими буквами написано „ Передовая статья ”... „ Нотр Пари коммене а компрендр... ”

— Ни передовыми, ни задними статьями не рекомендую заниматься и увлекаться, угрожающе прозвучал голос „ испанки ”. Тяжелая, мясистая рука крепко надавила на руку Апполона Петровича. Шея и второй подбородок покраснели до багрового оттенка. Апполон Петрович огорченный, — что даже и на маскараде лишен самых элементарных возможностей смотреть на интересные маски, — вспыхнул до решимости выдернуть руку из под грузной руки и элегантно раскланявшись, извиниться и уйти. Пусть, чертова кукла прет домой, как ей угодно. Испа-а-а-нка! как можно язвительнее про себя произнес он. Она удивленно повернула к нему загримированное лицо без маски, услышав какое-то шипение.

— Что вы говорите ?

Он чуть не повторил вслух, но буркнул что то невнятное. Музыка лилась широкой волной, заливая все чувства. Толпа гудела шмелем.

Апполон Петрович прикидывал, — стоит ли 2-х этажный каменный дом, пара лошадей, сытая жизнь — полной

потери свободы. И чтобы решить эту математическую задачу, пригласил свою даму на вальс. Жеманно приседая, зажав шею кавалера мертвой хваткой, они вмешались в круг танцующих...

А эти „черные клавиши" заливаются, томят, открывают неведомые горизонты.

...Одетые в мифические костюмы, два Аякса выступали в золоченных шлемах с золоченными колчанами, шарфамы. Костюмы были взяты на прокат из табачной лавочки, когда то купленные у прогоревшей опереточной труппы и многое в доспехах было заменено фантастически.

— Ты отдашь мне два с полтиной или как последняя свинья опять обманешь ?

— Ну вот, клянусь тебе всеми святыми.

— Теперь хоть на части разорвись, не поверю. Ведь я дал тебе разменять и дружески хотел поделиться, а ты промотал всю пятерку. Какая это дружба ? Ведь сказал, что выпьешь рюмку водки и съешь пирожок.

— Не сердись, Вася. Я и начал с рюмки водки и пирожка, а потом подошли цыганки. Ну и наели на четыре с полтиной. И куда в них лезло, не пойму.

Аяксы тяжело вздохнули. — Ну хоть на извозчика осталось и то слава Богу ! Это что же такое ? Газета ! Гляди до чего зачитали, одни объявления остались. Мать честная ! Она уже платком прикрывается.

— Эх, Сеня, не проешь ты 5 целковых, мы бы сейчас пригласили увезти ее прокатиться. Пойдем спасать погибающую, а то и объявления того и гляди сдернут...

— Маска, я тебя знаю !

— Значит знаю и я тебя, — хорошенькие глазки весело сверкнули на господина в костюме шотландского стрелка, — тогда это совсем неинтересно. Я предпочитаю тех, кто меня не знает или не узнал.

— Не уходи, ты очаровательна ! „Маска, я тебя знаю" это стереотипная фраза, чтобы начать разговор, на самом деле, я тебя не знаю, и он упорно крепко держал ее под руку.

Маска-цветочница старалась отделаться от назойливого шотландца, — ее смущали его шерстянные чулки, голые коленки и клетчатая коротенькая юбочка. Случайно заметив обручальное кольцо, ее осенила блестящая мысль.

— Ты меня не знаешь, а я вот тебя действительно знаю. Твоя жена здесь, будь осторожен. Она сейчас флиртует с трубочистом. Смотри, вот там, у окна.

Чуть чуть прикрываясь тяжелой портьерой стояла высокая маска Ночь. Темносинняя мантия легкого газа,

тюля и звезд. Он под стать ей. Опущенная вдоль мантии рука жмет руку женщины.

— Вот тебе на счастье цветок, иди отвоевывай жену. Полон ревности, бросив по дороге цветок, шотландец не раздумывая направился к окну, но пара уже умчалась в вальсе, исчезнув из вида. Шотландец взволнованный, растерянный решил спешно ехать домой, узнать дома ли его жена.

А цветочница закусив губку шаловливо смотрела вслед, покачиваясь в такт вальса, и вдруг почувствовала, как Амур с колчаном и золотыми стрелами схватил ее за талию и умчал. Ах, куда ?

Куда улетишь, куда залетишь с Амуром без предупреждения, без разрешения, безумно уносящим воздушное создание, вуаль и синие глаза ?..

А вальс точно рвался из оков...

# ВИЗИТЕР

Еще задолго до праздников Иван Семенович записал на длинный листок бумаги все имена, куда он собирался пойти в гости в день Рождества и Нового года. Тут ошибиться нельзя, — и празднуют то один день Рождества и день Нового года... Не былые времена.

Две недели бывало гуляешь! К самым близким друзьям замахнешь. Засидишься так, что домой „ еле можаху ” прибудешь. И всем понятно, — разве в один день возможно выполнить священный долг, — всех поздравить. На елки полюбоваться, домашней наливочки отведать. К вечеру пришвартоваться к тихой пристани и в безик, преферансик сразиться.

Сколько прелестных дамских ручек перецелуешь! Сколько чудесных пирогов, индеек, окороков душистых с гвоздичкой перепробуешь! Всюду разливанное море, и каждая хозяйка гордится своим чем нибудь, — особенным. Тут глинтвейн, там крюшон, там домашняя запеканочка...

Да-а-а, было времячко! Наградные получишь — сумму изрядную, и все спустишь за две недели праздников. Опера, оперетка, ложу возьмешь, друзей пригласишь. Они тебя пригласят. У кого свои лошади, — покататься зовут. Ну, просто, две недели мелькнут как сон. Опомниться не успеешь, уже и промелькнули. Да-а-а ! А вот теперь не то, не-е-т пожалуйте отпраздновать все в один день. Хоть разорвись!

И он снова откалывал от занавески на окне длинный листок с намеченными на нем фамилиями, куда он предполагал пойти. Хлесткины, Семеновы, Борчук, Ведеминовы, Браудер, Кисины, Ростовы, Буровы и еще и еще. Он прикидывал так куда ехать, чтобы пути лежали поудобнее. Спустись в субвей, вылезай где надо и там жарь по Бродвею из дома в дом.

Накануне Сочельника и в Сочельник хозяин предложил работать сверхурочно, отказать нельзя. Годы мои, годики, — вздохнул Иван Семенович, возвратясь после сверхурочных и кряхтя подымаясь на четвертый этаж. Но все же достал золотые имянные запонки и вдел их в туго накрахмаленную рубашку, — предмет споров дважды в год, на Пасху и Рождество, с китайцем в прачешной, который убеждал Иван Семеновича, что нынче тугих крахмальных воротничков и манжет не носят. Но что значит для человека, живущего воспоминаниями, такие убеждения, — словом с ними, воспоминаниями, сел у окна отдохнуть, нажал электрическую кнопку и комната погрузилась во мрак...

А на улице горели ярко витрины, шум, звонки пожарных, сирены и гам неумолчный, и Иван Семенович ушел из мира воспоминаний в объятия Морфея...

... Он студент, новая фуражка, теплое пальто, теплые перчатки, на лихаче ждет Леночку, в условном месте. Она гимназистка последнего класса. На будущий год уезжает в Москву и поступает на Высшие Женские Курсы. Они будут оба жить на Бронной. Там огромный студенческий дом. Весь звучит музыкой, пением. Ученики Консерватории тоже облюбовали этот дом... Дом поет и живет молодой жизнью с утра до ночи, а сам темный, старый, мрачный... Так вот, Леночка, прикрывая глаза от слепящего снега крохотной муфточкой, уселась удобно в саночки-бегунки, он прикрыл туго медвежьей полостью, обнял тонкую талию и они понеслись. Щека к щеке вот, вот прильнут. Мороз щипет уши, нос, а на сердце так хорошо, так сладко и вдруг... ухаб! Сани раскатились. Леночка падает, он старается ухватит, пытаясь удержать, но боль в ноге... и он окончательно приходит в себя на полу.

Так это был сон, грустно думает он, потирая ушибленное колено. Но как ясно я чувствовал ее около меня.

Было 6 часов утра. Сделать надо еще много, а главное не спутать куда, к кому первому. К Хлесткиным. Они всегда укоряют, что редко бываю. Сослуживец. К нему и закачусь.

Спустившись по крутой лестнице подземной дороги и вскочив в вагон, Иван Семенович стал отсчитывать

станции. Из тепла выбрался в ветряную стужу, натягивая полы пальтишка, подбитого рыбьим пухом и борясь с порывами ветра на углах, он доплелся до дома № 82. Третий этаж, без лифта. Позвонил. С радостным возгласом, — „ Позвольте поздравить ”... и продолжение замерло на устах. Лицо незнакомой женщины не обещало ничего приятного. Вопрос по английски, — чего он желает, — и объяснение, — что Хлесткины уехали. Она „ бэби-ситтер ” приглашена к мальчику и дверь перед носом Иван Семеновича захлопнулась. Он вышел на улицу.

— К кому же теперь? — К Ведеминовым.

Опять подземная дорога, спуск, подъем, годы. Комбинация печальная. И вот он у дверей.

— А я говорю, что ты сейчас никуда не пойдешь, — слышался голос Марии Виссарионовны.

Василий Васильевич гневно возражал на „ вы ”. — Если вы опять пальто и шляпу мою спрячете, так я в одном костюме уйду и вернусь к вам трупом, — гудел его бас.

— Ну и вернись трупом, никто не заплачет, а я и ключа от двери не дам.

Как же быть, звонить или уйти? размышлял у двери Иван Семенович. — Уйти, будто ничего не знаю и не слыхал. А может лучше позвонить, выручу Василь Васильевича, — и нажал кнопку звонка. Возбужденные голоса смолкли. За дверью возня, — дверь открылась на распашку. Красный, взлохмаченный Василь Васильевич предстал и широко раскрыл объятия.

— Входи, входи, рад безмерно. Эдакий праздник, а эта фурия чисто белены объелась! Не ходи, не дыши, не живи. Да ведь раз в году Рождество то?

— Не во время гость, хуже татарина. — Послышалось в это время из другой комнаты.

— Ах так! Так гостя в моем доме принимают, — разъяренно закричал Василь Васильевич. — Пойдем друг, — и тут только Иван Семенович увидел, что хозяин здорово на веселе. Он стал уговаривать не сердить жену, остаться. Но тот тянул его к двери и без пальто и шляпы выскочил первым за дверь.

— Пусть сидит с пальто и шляпой. Удивила! Да я и босиком уйду, по снегу, в мятель, куда хочешь! У меня, брат, характер! И он шариком скатился с крутой лестницы.

Иван Семенович еле поспевал за ним. Страдая за приятеля он снял шарф и спешно на ходу укутывал ему шею. У приятеля кадык на шее ходил от гнева ходуном... Они забежали в первое попавшееся кафэ. Прия-

тель пошарил по карманам и озабоченно спросил, —

— Деньги, Ваня, у тебя есть?

Два целковых, — смущенно ответил тот, вынимая бумажки и мелочь.

— Есть очень хочется. Ведь вчера уже Мария Виссарионовна стала допекать меня сюрпризами. К Рождеству была куплена утка. В проэкте имелось зажарить утку и запечь яблоки. Я и мечтал об ужине в Сочельник. Терпел до звезды. Постился. И вдруг на ужин вареный рис с черносливом и изюмом и еще какая то ерунда. Вареная рыбка. Говорю, „ а где же пища для голодного человека? " Но избегая ссоры, поковырял рыбку и пошел спать, мечтая поесть за завтраком, утром. А утром, чашка кофэ и тощий „ тост " и Мария с утра в боевом настроении — почему не ел рису? Ну, а окончилось баталией при тебе.

В кафэ за стеклом на плуге были установлены соблазнительные вещи во множестве, не говоря уже о горячих блюдах, где изумительно красиво выглядел кровавый ростбиф, ядрено поджаренная баранья нога, жаренные цыплята, индейка и пахло разварной курицей с сельдереем. Ах, какой аромат! И какие цены! Ну и более дешевые, как крупные сардины, две окруженные редиской, огурчиками, сельдереем и томатами или селедка в сметане и... ну что дразнить аппетит перечислениями. Все на плуге блистало, пахло и рука тянулась сама, схватить намеченное блюдо и поставить на поднос, а разум говорил, — на двух два доллара и еще минус 15 на проезд до дома. Да хочется сделать еще два-три визита до темна.

Вдыхая ароматы, взяли кофэ и сандвичи и чуть заморили червячка, и 60 сентов осталось про запас.

В горьких жалобах приятеля ( хоть давись!) время прошло незаметно. Приятели отдохнули, разогрелись и дав другу 15 сентов, Иван Семенович поехал к Буровым.

Ну уж тут накормят, напоят до отвала. Эти ласковые, гостеприимные. Седьмой этаж, но лифт, не карабкаться кряхтя. И он бодро позвонил у дверей. Васса Ивановна открыла сама.

— А где же супруг? спросил Иван Семенович.

— Да вот, жду не дождусь. Приглашены на „ файф-о-клок " к 5-ти часам, а его нет, как нет. Проходите пожалуйста.

Сели. Стол пустой, уныло отметил Иван Семенович, но на маленьком нарядном столике, с тонкой точеной

ножкой, стоял графинчик, так с пол бутылки вина вместимостью, но с очень длинной шейкой горлом, словно гусь вытянул сердито шею. Васса Ивановна тотчас налила стаканчик красного вина и придвинула тарелку полную сухого кругленького печенья, пояснив, что нынче стола не делала, т. к. знакомая француженка сказала ей парижскую моду, — давать вино, сваренное с корицей и лимонной коркой и печенье.

— И правда, куда удобнее, чище. Скатерти, салфетки не запачканы. Посуду потом целый день мыть надо, а тут запачкан только стаканчик. Во время пояснения преимуществ французской системы перед русскими обычаями, она часто подбегала к окну, как будто с седьмого этажа можно было что то увидеть. Но мужа не было.

— Ну подумайте, он пошел только с визитом к Ростовым и Кисиным и сейчас же должен был вернуться, что бы ехать к Сержинским на „ файф-о-клок ”.

Понимая, что вина больше не предложат, а печенье он незаметно сжевал все, Иван Семенович обрадованно воскликнул.

— Вот и чудесно, я вам помогу. Все равно я намечал зайти к Кисиным и если застану там вашего супруга, то немедленно направлю его к вам, — и раскланявшись он понесся на улицу. В горле щекотало от вина ли с корицею и лимоном, или от сухого печенья. Хотелось пить, но 15 сентов на дорогу к Кисиным, да 15 домой, и он решил терпеть. У Кисиных чего нибудь предложат, люди богатые.

Ушибленная во время сна нога давала себя знать все больше и больше... Вот он у дверей, звонит. Наконец желанный отдых. Дверь открылась моментально на звонок и трое, чета Кисиных и запоздалый супруг, буквально вывалились на встречу Иван Семеновичу с хохотом и предстали перед ним.

— Дружище, что так поздно? Иван Семенович не успел сказать, что его ждет жена, Васса Ивановна, как его забрали под руки, свели с лестницы, посадили в автомобиль и повезли. Вышли у подъезда того самого дома откуда пол часа тому назад вышел Иван Семенович и запоздавший муж всех потащил наверх, зная, что жена при чужих не сделает сцены, и даже будет любезно улыбаться, и даже поправит галстук мужа, показав внимание... И вот они опять у двери, где Иван Семенович пил красное вино с корицей и лимоном. На дверях ехидная записка. „ Мы были приглашены СЕГОДНЯ, а не ЗАВТРА в пять часов на чай к Сержинским.

Сейчас 6. Я еду одна, что бы соблюсти конвенансы и не обидеть милых людей ".

— Умница, воскликнул муж, восторженно, — едем все туда.

— Но ведь я не приглашен, а чай по приглашению, я даже незнаком с ними, запротестовал Иван Семенович. Кампания, протрезвившись от мороза, согласилась.

— Верно, неудобно.

Лицо Иван Семновича было печально. — Мы тебя довезем до 17-й улицы, а там тебе пройти до дома только три улицы, — утешал приятель, и снова усадили его в автомобиль...

Еле доплелся к себе наверх Иван Семенович и не раздеваясь сел передохнуть в кресло. В комнате было тепло. Снова поднималась на улице мятелица и бросала комья снега в окна. Порошило фонари и они подмигивали, словно заигрывая, поддразнивая. Иван Семенович аккуратно снял сюртук, повесил на спинку стула. Крахмальную рубашку сложил и положил в комод, — до Пасхи. Увидел медаль, которую так небрежно не хотел оставлять на сюртуке, уходя с визитами, и не выпуская из зажатой руки медали, взял из ледника бутылку молока, бекон и хлеб. Что то мешало взять хлеб. Разжал кулак, — медаль. И он ласково нежно улыбнулся, вспоминая...

... Он катался на коньках, осторожно замечая полыньи и обходил их. Уже пахло по весеннему и синело небо. Вечерело и жалко было разставаться с катком. Еще немного. Вон, вокруг той полыньи прокачусь, и он полетел к темному пятну. И вдруг увидел маленькую фигурку, старающуюся удержать бег к полынье. Миг и фигурка в ушастой шапке съехала в тень, под лед. Как был на коньках Иван Семенович, так и нырнул за фигуркой, заорав страшным зовом „ на помощь ". Под тонким льдом увидел темное, схватил, — ушастая шапка в руке, а мальчика нет. Каким то непонятным самому инстинктивным движением он бил лед, лягаясь коньками и схватив мальчика, пробивал путь в тонком слое льда. Силы изменяли. Но крик был услышан водовозом и баграми ухватив, вытащили Иван Семеновича и мальчугана, сына сапожника. За это и была ему присуждена обществом медаль за спасение...

Иван Семенович прижал ладонь с медалью к щеке и тихо задремал. И снова в грезах вернулся на родную землю.

# НОВОБРАНЦЫ

Стояла глубокая осенняя пора. Выпадали и ясные утра, потом небо хмурилось и даже в веселом городе, полном родных и знакомых, театров, синема и разных других развлечений, становилось скучно и тянуло домой, в усадьбу, к обычным занятиям, хозяйству, заботам, занимавшим весь день. Обычно лишь к вечеру Ольге Михайловне удавалось справиться с большим хозяйством, легшим на вдовьи плечи, отдохнуть.

Зиночке 16 лет. Казалось бы, город должен быть милее, веселее деревни, но нет, — атавизм, пошла в мамочку, плененную лугами, лесами, ясными зорями, багрянными закатами, шумом родного сада разноголосицей птиц певчих, скотного двора, где курчавые барашки, коровы, лошади смачно поглощали куски хлеба, сахар, морковку, смотря благодарными глазами на Зиночку.

— Мамочка, ну хоть на три денечка возьми меня домой. Я же первая ученица. Французский, немецкий, арифметику, все с меня списывают, а плохо я иду только по рисованию и рукоделию, значит ничего не пропущу и за неделю, не только за три дня. Возьми, мамочка.

— Да уж хорошо, — сдалась мать, — едем.

Зиночка не по годам сильная развитая девушка. Дядя Вася, шутя, пел под гитару, на мотив „Очи черные”.

„Очи черные, зубы белые
Талья тонкая, грудь высокая.
При такой красе, а не замужем, —
Приезжай домой, живо выдадим”...

— Да чего уж там, эдакая не засидится, — подтверждали соседи...

Солнца не было и день был пасмурный.

— Выедем пораньше, засветло приедем домой, расчитывала Ольга Михайловна. Легкий кабриолет, Тролль, веселый породистый конь сразу взял широким махом и понесся.

— Застоялся, — сказал Терентий, подбирая круто вожжи. Через пол часа выглянуло солнце, но какое то больное, холодное, а еще через пол часа небо затемнело, подул вихрь и пошла крупа, больно колющая щеки, глаза, лоб, нос, — все стало замерзать. Тролль вдруг припал на левую заднюю ногу и сделав шага два, остановился и жалобно заржал. Терентий соскочил с облучка, подошел, поднял ногу.

— Ах ты, сделай одолжение! Ведь ногу то засек, пробурчал он обиженно. — Вот беда, барыня. Если пое-

дем, лошадь испортим. Обождите, я сей момент сбегаю, вон мельница видите, все там и устрою...

И он исчез в пороше. Через пол часа явился, приехал на розвальнях, привез тулуп, охабень плотного серого сукна, ушастую шапку и зеленый кушак. Все это было одето на промерзшую Зиночку. Маме была дана бабья куцавейка на беличьем меху. На солому и сено в розвальнях удобно уселись мама и Зиночка, совершенно преобразившиеся.

Кругленькая буланая лошадка, доев клок брошенного ей сена, поводила ноздрями и пофыркивала, оборачиваясь к дровням, откуда пряно и сладко пахло ржаной соломой и душистым сеном. Тролля выпрягли из экипажа и, забинтовав ногу, тихонько повели на мельницу. Терентия оставили при лошади, обещав прислать ветеринара.

На облучок розвальней сел какой то невзрачный мужичок. Сидел он неспокойно, ерзал, оглядывался. За хлопотами о лошади, Ольга Михайловна не обратила внимания на возницу, но сейчас, приглядевшись, осталась недовольна.

— Ненадежный мужик, — подумала она.

Лошадка, несмотря на порошу, застилавшую глаза, бодро бежала рысцой, и мужик выводил жалобным голосом одни и те же слова.

„Ах, да как на селе у нас, случилась передряга, да и как, ах, да случилась передряга" И опять снова заводил, помолчав минуту-две.

— Ну и песня ! Ну, да уж пусть поет, благо не спит. По моему он пьян, тревожилась Ольга Михайловна. Только бы не уснул, думала она, кутаясь в бабий полушалок с головой...

Вдруг, стоп.

— Барыня, а барыня, — услышала она и открыла глаза. Возница маленький, плюгавый, стоял перед ней. — Барыня, барыня, здесь, эвона недалече, — он махнул кнутовищем по направлению десятка изб, стоящих на отлете от столбовой дороги, кум мой там живет, повез я вас силом. Терентию говорил, что мне люто надо до кума, на минутку хоть забежать. Эвона, дом то, третий с краю, может и вы заедете погреться.

Ольга Михайловна подумала, — вылезать в тепло на десять минут, нет смысла и опять холод. Уж уселись уютно и она стала уговаривать мужиченка.

— Да ты зайдешь на обратном пути к куму. Я тебе два целковых прибавлю.

Но мужиченка заупрямился и пробормотав на ходу, — я сей момент, — как заяц петляя, помчался по снегу.

Ольга Михайловна увидела как полосатые посконные штаны и короткий тулупчик перемахнули придорожную канаву и заскакали широкими взмахами по кочкам. Он был уже далеко.

Делать нечего, придется ждать и Ольга Михайловна спрятала нос в тепло, погрузясь в соображения о разных домашних делах. Мед вытек из сот, надо истопить воск, отдать батюшке в церковь. Просвирня прихворнула, надо ей в помощь послать Василису. Абрикосы из жидкого сиропа переложить в тяжелый, густой. Очнулась она от дум при изрядном толчке и, высунув голову из тепла, увидела, что лошадке надоело стоять и она трусцой двинулась по столбовой дороженьке. Телеграфные столбы указали, что она с пути не сбилась.

Зиночка была довольна, что они едут, а не стоят на месте. Дело было уже далеко за полдень, клонилось к сумеркам, а ямщик их еще не нагнал. Ольга Михайловна отвязала от облучка вожжи и стала погонять лошадку...

Вдруг из за перелеска, с проселочной дороги, послышалась гармония и пение многих голосов. Ольга Михайловна вспомнила, что идет набор новобранцев и встретиться двум женщинам с этой компанией, довольно неприятно, смотря на каком градусе они находятся.

Обыкновенно новобранцы отгуливали свою свободу, привольную жизнь. Прощай посиделки, хороводы, пляска, гульба. Не так уж много пили, как куражились и притворялись, что они „ страсть, как много пропили денег ". И вот явственно послышалась песня.

„ Ваньку Хренова забрыли,
Всей деревней затужили.
Полно плакать и тужить,
Не один иду служить.

Идет Мишка, идет Гришка,
Идет дяденька Влас,
Идет очень много нас. "

Две гармонии разливались, — как меха не порвутся. И вот на столбовую дорогу вывалила кампания новобранцев.

— Зина, укройся с головой и не шевелись, лежи, — испуганно сказала Ольга Михайловна, а сама сделала кислое лицо, закутавшись платком, — подальше от соблазна, кто их знает.

„ Лежит Ванька на боку
Курит трубку табаку.
Махорка малина,
Махорка калина. "

Витиевато пропел запевало, задорно глядя на Ольгу Михайловну.

— Глянь ка ребята, я думал это мужик, а это баба правит.

Толкаясь, с песнями, они отстали, — ширенгой поперек дороги шли они. У всех красивые платки на шее, подарок девушек. Фуражки лихо на бекрень или еле держатся на затылке. Сапоги горят, так начищены голенища. Пьяны здоровы. Гогот идет во всю. Одно слово, отгуливают свою свободушку, зубоскалят, поет гармонь.

Ольга Михайловна энергично подгонявшая лошадку уже стала приходить в себя. Между новобранцами и санями было изрядное разстояние, но вдруг она увидела группу отделившуюся с гармонистом-задирой, и быстро настигающих дровни.

Со спокойным суровым лицом встретила она кампанию.

— И чего это носит вас непутевых ? Белены что ли объелись ?

— А вот мы желаем спросить тебя, что ты везешь ? Может вино есть ?

— Подите вы, огалтелые, — подделываясь под деревенскую бабу, грубо ответила Ольга Михайловна, — Вон мальченка возила к доктору.

— Мальченку аль девченку ?, — подмигнул кампании гармонист. Одни усмехнулись, другие одернули, — ну чего привязался к старухе, не замай, играй лучше, — и затянули

„Шел я верхом, шел я низом,
У миленка дом с карнизом".

Ольга Михайловна приуныла. Лошаденка еле тащилась и пройдя немного решительно остановилась.

Один парень перескочил канаву, схватил хворостину из валежника и подбежав к лошади, хотел ударить. Ольга Михайловна, не помня себя от гнева, выпрямилась в дровнях и закричала властно.

— Ты съума сошел, болван, чучело нескладное. Бить чуть живую лошадь.

От резкого движения полушалок, надвинутый низко на глаза, сполз на плечи и каштановые кудри, модной челкой, рассыпались.

— Мать Честная, да ведь это наша барыня, Ольга Михайловна, с Выселков. Чевой то с ей поделось ? ахнул парень, приятель гармониста и быстро подошел к дровням. Видя, как сурово сдвинулись брови барыни, он торопливо сказал, — не сумлевайтесь, Ольга Михайловна, мы хоть и выпимши, но не очень, так для куражу. На службу Царскую идем, в рекрутах сейчас гуляем. Я Петра, может помните, с тятенькой у вас зимные рамы прилаживали? Еще вы мне баринов шарф подарили.

Лицо барыни просветлело. Подняла голову и Зина из под платка и сидела, розовая, с любопытством глядя на парней, обступивших дровни.

— Чего же теперь делать, ребята ? До Выселок добрых верст семь. Давайте толкать сзади, а ты рядом с конем за оглобли берись или за узду.

— Я думаю, что лошади дать лучше сено, — звонко объявила Зина, — а мы подождем, — поест и пойдет.

Лес стоял темной стеной, уже не различить отдельных деревьев. Пороша мелкой крупой сыпала и сыпала.

— А как же вечеринка, недовольно заговорил задира-парень. — Девчата ждут.

— Ну и подождут, — ответил Петра.

— Нет, это не ладно и для гармонии плохо, ишь как сеет.

— А как же их одних в лесу оставить. Я останусь, — решительно объявил Петра.

Три четыре человека решили остаться, может кто проедет, подсадит к себе, а лошадь без груза легко пойдет.

Лошаденка жевала сено, — подвязанная к морде торба быстро пустела. Зина была права. Опустошив торбу, лошаденка двинулась. Парни мялись, в нерешительности. То ли можно оставить женщин одних, то ли нельзя.

— Кто то едет, — обрадованно заорал Фома-кузнец.

— Эвона вас куды занесло, какую даль, и с дровнями поровнялся ледащий мужиченка верхом. Он подозрительно оглядел новобранцев.

— А вы чего тут делаете ? и укоризненно стал выговаривать барыне. Я ж тебе, барыня, говорил, стой на месте. Я единым духом сбегаю к куму и вернусь. Вернулся, а вас уж след простыл. Пробежал версту аль две, вас нету. Вернулся, где ж пешком лошадь догнать. Взял у кума кобылу, да умаялся, ни седла, ни подстилки.

Запрягли кобылу в дровни, лошадка пошла сзади на привязи. Барыня дала три целковых на разгул и пригрозила парню.

— Никогда усталую лошадь не бей, скотина нам дана Богом на помощь, а не на мученье.

— Да уж ладно, учительша, — смущенно бормотал парень с хворостиной.

— Ну, с Богом, счасливого вам пути, — говорили парни обрадованные тремя рублями.

— До свидания рекруты, — звонко прощалась Зиночка. Ей ужасно понравилось приключение.

Заиграла гармонь.

„Ах лед трещит, вода плющит,
Это кум к куме, да судака тащит.”

# ФАРАНДОЛА

Не кажется ли Вам, друг мой, что жизнь это смерчь или французская фарандола?

Сидят люди мирно за столиком, потягивают „Клико” или „Хейдзик” монополь деми-сэк, или мирно жуют жиго де мутон, запивая дешевым ординером и смотрят на часы, когда стрелки наконец догонят цифру двенадцать и Новый Год крикнет, — Я здесь! что бы поднять бокалы и радоваться кто как умеет и хочет.

Но вот за каким то столиком кто то проявил свою волю, свою инициативу и схватив кого то за руку, тот схватил другого, этот третьего и потащил длиной лентой за собой и мчится не разбирая, хватая всех, кто попал под руку по дороге и вырваться нет возможности...

Фарандола крутится между столиками, между клумбами, тумбами, каким то чудом избегая разрушить все препятствия в своем беге из залы в залу. Получается такая центробежная сила, что если бы кто нибудь подумал вырваться из круга, он неизбежно расшибся бы о любое препятствие.

Когда летящий в безумном экстазе вожак безстрашно, не разбирая дороги, чутьем пролагает путь, ты веришь ему, забываешь о всех клико и жиго и о всех благонамеренных планах.

А фарандола все мчится в своем беге неистовом, захватывая по пути все новых и новых вольных и невольных участников.

Да не подумает каждый из нас, что он не захвачен фарандолой, что он избежал чьей то крепкой руки, ухватившей первого попавшегося и безжалостно влекущего в вихревом пути к неизвестному. Ты, я, мы, вы, он, она — мы все участники фарандолы не замечаем только, что несемся мы не по своей воле, а диктует нам фарандола...

⁂

Герой был строен, красив, честолюбив, талантлив, смел и готов был загребать жизнь обеими руками. Не высок, худощав, синеглаз — им любовались, как картинкой, любовались, прикидывая на разные манеры. Встречая взгляд упорных синих глаз говорили, — чудесный моряк, авиатор, коммерсант, муж, поклонник, любовник выйдет из него, — если он этого захочет.

Мальчишкой двадцати лет, он выброшен был из гнезда, оторван от родных и защищая Родину и близ-

ких, в дырявых башмаках и непросыхающих обмотках шлепал в густых лесах, полях и топях, то нападая на врага, то прячась от неприятельских облав...

Но вот кончились родные поля и луга, — измученный и телом, а еще больше душой, разметанными, растерянными по путям и дорогам мечтами и планами, красавец юноша застрял в Париже, городе самом неподходящем для неустановившихся людей, особливо людей без фундамента. Всего много, все блестит и манит, возможностей мало, просто никаких. Мыть посуду в ресторане — ход единственный, первый шаг. Все что вздумал бы изучать, требовало денег. Итак, ресторан.

Приглянулся какой то девченке, приглянулась ему... Танцульки. Любовь на два су. За ней другая, третья. К счастью он не стал пьяницей, хотя пьют там не меньше чем в Америке. Каждая встреча, выпить необходимо. Словом пьют вино так, как в России пили квас. Новорожденному и тому вливают силой красное вино. Женщины менялись по его или их прихоти. Он брал. Отчего не брать, если дается. Он разменивался, но идея сделать большое, великое, достичь... чего? оставалась...

Он шел по инерции, глядя на настоящее, как то боком, скося глаз, а настоящее маячило. Сойдясь с профессионалкой „ шикарного ” кабарэ, стал танцевать. Как во всем и в этом преуспел.

Однажды пришел один. Подошел Метр д-отель и сказал, что вот та дама хочет с ним танцевать. Пожал плечами удивленно. Это было еще ново. Но пошел. Пожатие руки, — сто франков, бумажка хрустнула. Дама уже сидела, как ни в чем не бывало. Хорошенькая, молодая. Улыбнулась и дружески кивнула. Он пригласил ее еще раз, но денег больше не взял с нее. Но за то стал брать с других и брал жестоко. Танцевал с некрасивыми, влюбленными в него. Деньги сыпались, но его не испортили.

Он учился, постигал, копил деньги для достижения своей цели.

Просто сказать, но как не привыкнуть. Как устоять. Прошли сотни мишурных, легко дающихся приманок, — сотни женщин. За танец брал как ремесленник, сапожник, плотник, художник берут за работу, бросал на красивых, на меха, камни, шампанское, все забывал, увлекался.

Время шло. Он устал и понял, что мускулы тренируются у кузнеца, плотника, а его ремесло мускулы жжет. Безсонные ночи для заработка, безсонные ночи с избранницами в таких же душных кабарэ, и всюду шампанское.

— Устал, не хочу, сказал он однажды, чувствуя дрожь, словно озяб. А чего хочу? Покоя и денег для намеченной цели...

Но деньги перестали сыпаться, как только он перестал ходить в кабаки и пришлось для пополнения бюджета иногда ходить.

Встреча, — некрасивая, в очках, ледащая, как говорят. Сухая. Глаза серые, близорукие, волосы жидкие. В танце обнимешь, одна кость. А жмется, прижимается, за свои деньги полная власть, и за шею прихватит. Ох, не любил он этой манеры, — словно прачка, но понимал, что все это от любви к нему. В руке хрустела тысячная ассигнация. Деньги большие, — но нос, нос, словно триста раз в день сморкается. Над припухшими губами висит огурцом, но... миллионы. Куда ни шло, соглашусь, — жениться, так жениться, наобещано много, — полная свобода. Люби кого хочешь, но только меня не бросай. Я все вынесу...

Женат, денег на дело сколько хочешь. Родня уважает дело. Он добился своего, но мешала ему страшная двойственность его натуры.

Он попрежнему любил кого хотел. Родился сын. Хилый, больной. По правилу, неписанному закону природы, как говорят старые люди, ребенок выходит в того кого любят... Он не любил, любила только она, — и сын вышел точный портрет отца. Если бы не ручки и не ножки, висящие как плети, безсильные даже обнять, то лучшего нельзя было бы и желать. Сын — портрет отца. Тот же бархатный взгляд, та же нежная кожа, благородный овал. Умный лоб и хилое тело матери.

Никакие врачи, курорты, — ничего не помогало. Он устал бороться и махнул рукой. Это кара! Любовь к другим женщинам, калейдоскоп хорошеньких, красавиц, модных, оригинальных брать вошло в привычку. Некоторые, просто ищущие сорвать денег, подарки, проходили незамеченными. Иные, поумнее, возможно сами увлекшиеся, задерживались. Платил он всем.

Жена твердо держала слово. Быстро постаревшая, — от слез да горя не похорошеешь, скверно, небрежно одетая, — все равно лучше не станешь, — выезжала иногда с ним и входя в зало, близорукими выпуклыми очками, искала кто его пасия, среди красивых, нарядных женщин, иногда того не подозревая, а может быть и зная, сидела рядом с дамой сердца своего мужа. Никто не знает, что скрывают тайны алькова. Так никто не знал их истинных отношений.

Но вот однажды предприимчивый импрессарио привез балет в тот город, куда переехал он после рождения сына, — точнее, куда родные увезли его семью, прихватив и его.

Ну раз балет, значит была и примадонна из начинающих. Значит нужен и покровитель искусства. Ну кто же как не он должен оплачивать все прихоти смазливенького личика, куриного ума, весьма ловкого и хитрого и очаровательной фигурки.

Он увлекся не на шутку. Хотел бросить жену. Друзья сказали, —

— Не валяй дурака, не разводись. Родные и жена оплачивают твоих любовниц, но жену оплачивать не будут. У балерины твоей жених, но на нищей он жениться не хочет. Ей нужны деньги, вот почему она обрабатывает тебя. Нет там давно ни целомудрия, ни невиности. Все это ложь. Прожженая баба, вдохновляемая женихом. Не порть жизни ни себе ни сыну.

Он размахнулся, — приятель удержал руку. — Не по адресу, сказал тебе все, жалея тебя.

Высосано денег его было уже не мало. Любовь и ласки без конца. Он решил проверить, дал ей тридцать тысячь долларов и... она исчезла, — вышла замуж.

Теперешние антрепризы лопаются, как мыльные пузыри, и если держатся, то артисты, любя исскуство и не рискуя остаться не у дел, должны чаще всего сами хлопотать о материальной поддержке дела. 30.000 проплыли быстро между пальцев, особливо при помощи мужа, нашедшего синекуру в обожающей его жене.

Ривьера, Монако, ее выступления требующие огромных затрат на туалеты, — ведь это французская Ривьера, там средними туалетами не удивишь. От денег остался дым и от мужа с дюжину красивых галстухов, с запиской, — „ полюбил другую, не сердись. Мы выпили нашу чашу восторга до дна. Не поминай лихом. ”

— Пошляк! Мерзавец! топнула ножкой балерина, осторожно, чтобы не повредить сухожилий.

Денег осталось четыреста франков, — телеграмма ему. Прислал пять тысячь.

— Не жирно, подумала она. Разве поехать обратно? Там он опять станет бархатным. Но неугасшая любовь к мужу задержала в Ницце, в отеле Негреско.

Где то танцевала. Гастроли. Вынужденные отдыхи. Постоянные поиски денег. Заботы о „ завтра ” и мечта, может быть муж вернется. Где он? Деньги привыкла брать просто.

Вечер, такой красоты как на Ривьере, такой тихой мечты, как море лазурное, обрамленное капризным из-

вивом огней, приморских городков, тихим шелестом волн, набегающих на теплый еще песок пляжей, — не найдешь нигде. Тут культура веков и красота природы слились воедино.

На балконе стоит балерина. И на балконе соседнем, покуривая трубку, стоит мужчина. Висящий фонарь колеблясь от ветерка, словно подплывает к балкону и на минуту освещает ярко ее. При мерцающем свете в рамке ночи она хороша. Легкие прозрачные ткани умело брошены на тренированное тело... Мужчина нагловато смотрит и приближается.

— Красиво ? кинул он. Она восторженно подхватывает настроение. Мысль работает. Дорогая комната, одет хорошо, растегнут, но не раздет, значит откуда то только что вернулся. Пол часа шутливой болтовни, к которой так располагает французская речь.

— А я выиграл сегодня много... Из бумажника она отсчитала пятнадцать тысяч франков. Он смеялся не протестуя...

Через три дня на балконе вместо него сидела старая дама с мопсом на руках. Уехал, даже не простившись, — вздохнула балерина. Наверно проигрался. Жаль...

Так трепала ее фарандола. Прошло 7 лет. Она танцует в Праге, с партнером. Все таже избитая „ Весна ". В легком, как пушинка платье, фиалки на огромной шляпе. Она очень эффектна. Французская субретка с корзиночкой цветов, остро на носочках порхает по огромной сцене. Случайно брошенный взгляд в партер и в первом ряду видит, — ее муж Оскар с дамой. Пухленькая, розовенькая. Пришли за кулисы. Познакомились. Этого из фарандолы выбросило удачно. Женат, большая кондитерская, изрядное брюшко, лысинка, шестилетний сын. Гостила у них. Порывов у него никаких, — „ он был доволен сам собой, своим обедом и женой ".

С тяжелым чувством уходила она от них. Ей почему то стало жаль себя. Она быстро покинула Прагу, увозя случайно подхваченного поклонника инженера. Италия не обласкала, — там голос, музыка ценятся выше балета. Она устала...

Перебирая репертуар она поняла, что нужно изучить что то новое. Новое идет из Америки, значит туда и нужно ехать. Инженер давал мало и был быстро вышвырнут из фарандолы.

***

А фарандола мчалась неустанно вперед.

В городе и окрестностях устраивалось множество балов с благотворительной целью. Но старое старилось,

а на новое не было достаточно фантазии и балы утратили свое первоначальное значение. Город большой, видеться и обмениваться визитами было и некогда и трудно, — балы, и концерты, и вечера были встречи единомышленников. Со старостью пришло и желание отдыха, покоя, да и многие выбыли из рядов, уходя совсем на покой, и лишь скупые редкие слова, памяти об ушедших, звучали при встречах.

Балы тускнели, редели и устроителям приходилось выдумывать что нибудь „экстра", что бы получить желанный результат — деньги.

И вот в Санта-Барбара на одном балу придумали красивый декоративный номер. Предсказательница судьбы „фри-на-фру". Загадочно !!

Случайно проездом через этот город остановился и наш герой. И как раз в этот вечер какая то маркиза или графиня давала бал — концерт в пользу бедных. Ему предстоял долгий вечер в чужом городе и он зашел в чудесно декоративный зал. Уже гремела музыка и было множество военных, случайно проходившего конного полка. Офицеры служили редкой приманкой и поэтому собралось множество девиц, вывезенных родителями, — не найдется ли жених. Народ богатый, невесты залиты бриллиантами. Бал устроен в пышных залах отеля.

На лице его была скука, — он бродил из зала в зало и вдруг наткнулся на павильон. Эге ! да это что то интересное. Четыре палки, затянутые пестрыми шалями изображали палатку в углу залы. Две красивых девицы стояли по бокам закрытого занавесом входа в шатер. Впускали чуть приподымая занавес. А дальше, — что делалось за занавесом, что предсказывала пифия, — неизвестно. Но многие выходили довольные улыбаясь.

Шатер в восточном вкусе. Пестрый угол материи подхвачен толстым шнуром с кистями. Две мелкие плошки у входа с узкими мерцающими огоньками. Пламя колебалось, то притухая, то ярко озаряя часть шатра. Мерцало что то изумрудами, не то камни, не то глаза кошки-человека. Ничего не разберешь. Надпись над палаткой „Ля Сорсьер". Он вошел внутрь.

На тамбурине висели мелкие колокольчики по краю и казалось издавали тихий шелест, как вздох или стон. Кошка с зелеными глазами излучавшими фосфорический свет нарисована и брошена на стенку. Он смотрел не отрываясь на оскал продолговатых белых зубов, на закинутую чуть вкось голову и страшную колдовскую улыбку. Словно отряхнув чары, он шагнул в шатер и на секунду остановившись ориентируясь, подался вглубь.

Там у небольшого треугольного столика сидела женщина. Ясно видны были лишь волосы, лоб, глаза. Глаза те, что были на портрете, но она не смеялась. Она взяла его руку и он, словно поддаваясь ее приказу, сел. Что то сладко заныло в его груди. Защемило грустью, неизбежностью, — чего ? Он впился в бархатные глаза и будто ушел, отделился сам от себя. Рука его лежала в мягкой прохладной руке женщины. Она вздохнула глубоко и тяжким шопотом сказала.

— Ты — авиатор. Ты выбрал то, за что падая невозможно удержаться, — воздух. Да и вообще в твоей жизни ты выбирал и брал то, за что удержаться было нельзя.

— Ты хочешь сказать, что я падал ? Он пытался сказать это гневно, но сказал печально и с болью в сердце, вдруг ущемившей его. Он низко склонил голову. Она положила холодную ладонь на его лоб и слегка нажав сказала.

— Думай, когда подходишь к человеку, что несешь ему, радость или боль... Ибо за радость, всегда жизнь дарит радость, а за боль платит болью. И запомни. Если ты не оборвешь все кажущееся тебе радостями сейчас, — то кончишь жизнь с единственным оставшимся тебе другом — обезьяной. Иди. Прощай.

Рука упала и сетчатая ткань опустилась, отделив женщину от летчика. Он протянул руку, нащупал шелк. Спросил, — я могу придти еще к вам ?, — Молчание.

Он бросил сотенную бумажку и ошеломленный вышел из шатра, чувствуя на бровях прикосновение длинных холодных пальцев. Ждала очередь желающих погадать.

— Какая чертовщина, — подумал он. Совершенно разбитый он вышел из шатра. Кто то спросил, — молодая ? Старая ? Он ничего не ответил, ощущение прохладной ладони он чувствовал еще на лице...

Но как всегда поехал кого то провожать, без любви, без чувств, с наигранным в силу привычки желанием. Это был обычный заключительный аккорд. Существо у бока показалось серым и неинтересным, как и сама игра. Неужто старею, больше изумленно, чем обиженно подумал он.

Увидеть во что бы ни стало, увидеть. Откуда она узнала, что я летчик? Откуда могла узнать, что всю мою жизнь я брал то, за что падая нельзя было удержаться? Ведь я здесь всего несколько часов? И он вышел в парк. Голова кружилась как после сумасшедше проведенной ночи. Вернуться в отель с мыслью сейчас же опять идти в шатер, умолить женщину уйти из этой фан-

тастической колдовской мистерии. Поужинать с ним, выпить бокал вина. Быть просто женщиной, а не пифией перед божественным треножником... Но ни портрета, ни шатра не было уже. В этом зале гасли огни. Брезжило утро. Седой туман шел с моря и зыбким вуалем поднимался ввысь...

Он отыскал Маркизу-Патронессу на другой день, но о женщине она ничего не могла сказать. Дама видимо говорила неохотно и неправду. Администрация знала тоже лишь Маркизу, и никого из артистов и участвующих на этом балу.

И вот он в своих безцельных шатаниях наткнулся на великолепный антикварный магазин г. Бенца. Дряхлый, почти коричневый, человек показал ему много заморских вещей в своем хранилище, собранных по всему миру.

Не зная почему, но он вдруг разсказал г. Бенцу о происшествии на балу и о своих поисках.

— Сейчас вы ее не найдете, — сказал пергаментный старик, но руку ее вы встретите еще на своем пути. Печально, если вы пройдете мимо, не заметив. Может быть она помогла бы вам удержаться, схватившись за нее, а за воздух действительно удержаться невозможно.

От антиквара он вышел с тяжелой душой, но поверил, что женщины этой сейчас он не увидит, да и уезжать было необходимо.

А искать все же буду !

Он был поражен, когда прочел однажды, что Арлингтон Отель, где давала бал Маркиза и угловой магазин г. Бенца провалились безследно во время землетрясения. Он все собирался побывать в Санта-Барбара, да все что то мешало и он откладывал. И сейчас он ищет ту руку, что лежала прохладой на его лбу, или похожую на нее...

Фарандола мчалась, безжалостно трепля попавших в нее многих и против желания схваченных судьбой, по инерции. Трепала она героя тяжело. Безжалостно, но он не унывал, жалея лишь об одном, — почему не все женщины принадлежали ему. Видно в крови его было наследие — должно быть наградили предки Чингисхана, владельца пышных гаремов, Саардар, — кто знает, за чьи страсти расплачивался он в наш век, такой не подходящий для этого быта, — но он с честью нес наследие.

. . . . . . . . . . . . . .

Шли годы. Женщина эта постоянно встречалась на пути и казалось ему, она смотрит, зовет, а подошел-мираж,

Смеющийся взгляд серых улыбчивых глаз, красивое холеное тело и ум...ум... — это страшно. Паралич для всего что любил он. А тут ум, поди ка разберись, что в этих серых насмешливых глазах, а слова, слова льются красивые, ласковые

Порою он чувствовал какое то недовольство собою. Усталость и сомнение. В чем ? Сам точно не знал. Словно забыл, что хотел, собирался сделать и упустил из глаз намеченное. Усталость, порою сонливость, — и в такие минуты жадное желание руки.

Без мысли зачем, он прилетел на один из нарядных курортов. Было жаркое лето. Он остановился в большом шумном отеле. Он пошел по набережной и сам не зная как, бездумно добрел до аэродрома. Подошел к своему авиону. Поговорил кое с кем и хотел подняться в прозрачную высь и вернуться к четырех часовому чаю. На веранде музыка, наверное будет интересное общество.

Он положил руку на руль и вдруг резко отдернул, словно ожогшись. Быстро прошел к выходу, — раздумали ? спросил кто то из служащих. Окинув его отчужденным далеким взглядом и ничего не ответив, будто не слыша, вскочил на проходивший автобус.

Перед его гостинницей стоял поперек тротуара большой экран, на колесиках. Выставляли его с программой четырехчасового чая и анонсов вечерних концертов. Подойдя уже шага на два к этому экрану, он увидел пыль на сапогах и наклонился смахнуть платком. Его обогнал какой то мужчина. Порыв ветра, экран покатился на колесах и грохнулся на человека, прошедшего вперед. Крики, полиция, карета скорой помощи, кровь на тротуаре.

Он стоял ошеломленный, не веря своим глазам, а на лбу была холодная рука. Прикосновение так реально, словно печать легла, — продолговатая холодная рука.

Он перестал летать. Все меньше хотелось видеть людей. Прошлое стало как в тумане. Еще „ вчера " стало далеким, скучным и ненужным. Только бы рука чувствовалась, — с нею не страшно...

Семья уехала на дачу. Перед самым их отъездом он вернулся с запозданием, т.к. лететь не хотел и семья готова была двинуться без него. Но несмотря на жару откладывали отъезд. Он был даже как то не рад. Ему словно все мешали, а в жизнь входило что то новое постороннее, непонятное.

После отъезда семьи к нему приезжали друзья, пожалуй даже не друзья, а просто знакомые, настоящих друзей у него не было. Подле него всегда было как то

прохладно, словно веяло издалека холодком. И никому никогда не пришло бы в голову ударить дружески по плечу, подшутить, подсмеяться. Всегда мог встретить вежливый и холодный отпор.

Но любители хороших завтраков, вина, приятной атмосферы, хороших комнат, чудесного сада, где можно было отдохнуть от шумных городских улиц, — все это притягивали к нему. Иногда он безцеремонно оставлял их, уходя куда ему было нужно, коротко извинившись не поясняя куда и зачем уходит, и часто гости, посидев и не дождавшись хозяина, уходили.

В конце сентября, когда природа так богата красками, семья оттягивала свой отъезд в город.

Как вдруг пришло письмо от их домашнего доктора и друга. Он как врач и как друг советовал жене лучше вернуться. Семья вернулась и его не узнала. Это был совсем далекий, как будто, чужой человек. Разспросить его, проникнуть за эту костяную перегородку, было невозможно. Можно было только догадаться.

И только сейчас жена его вспомнила, что врач давно и осторожно предупреждал ее, что в жизни его надо что то переменить, завоевать его доверие, т. к. может наступить момент, когда человек, которому он верит, будет ему необходим. Что он страшно одинок и около него пустота, что мозг его ничем не занят кроме механической работы. Она пропустила это мимо ушей. И вот случилось...

Он чувствовал, что язык его костенеет, перестает повиноваться и настал момент, последний момент, когда он еще сможет сказать и ей и сыну „ прости ”...

Он давно собирался сказать это слово. Пусть хоть это смягчит всю горечь прожитых лет для всех, и меньше всего, для жены и хилого сына. Он жестом указал врачу, который настаивал на свидании с женой и сыном, ждущими у дверей зова доктора, знал, что последние минуты близки. Он наклонил чуть голову и доктор быстро распахнул двери. Сын остановился в дверях, а жена быстро скользнула к постели, увидела тот же точеный профиль, очень мало принадлежавший ей за всю долгую совместную жизнь... Она ждала хоть на прощание услышать слово любви, дружбы, благодарности за безпечальную жизнь, какую она дала ему. Она жадно смотрела ему в лицо похудевшее, но все еще красивое.

Он силился сказать „ прости ”, это именно он хотел давно, раньше. Губы скривились и сквозь жалкую гримасу губ проползло „ ползти ”. Она отшатнулась, раз

качнулась, два и свалилась на руки врача. Ее без чувств вынесли в другую комнату...

---

... Огни угасли. Фарандола кончилась. Музыканты медленно бережно укладывали свои инструменты. Уборщики со щетками, тряпками стали убирать мусор. На улицу с шумом из дверей выходили последние участники фарандолы...

На темном небе угасали звезды и занимался светлый восток...